



Игорь Рысков

**Эдуард КУЗНЕЦОВ**

**РУССКИЙ РОМАН**

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО  
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"**

**1982**

# **РУССКИЙ РОМАН**

© Copyright by Edward Kuznetsov

**Редактор Н. Рубинштейн  
Корректор Н. Островская  
Технический редактор Н. Рубина  
Обложка Г. Винницкого**

*Посвящается Алексею Мурженко  
и Юрию Федорову*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ДО...	
Герой и его автор . . . . .	9
Страхи, страсти... . . . .	22
Отец. Мать . . . . .	35
Дон Хозе. Генерал. . . . .	48
Дела сердечные . . . . .	64

### НЕСКЛАДУХА РУССКАЯ

Таня . . . . .	75
"Чугунка" . . . . .	84
Провода под током . . . . .	98
Соглядатай (I): <i>женский городок, кислый запах, кукиш</i> . . . .	110
Новое знакомство. . . . .	126
Соглядатай (II): <i>племя младое</i> . . . . .	137
Житуха. . . . .	144
Застолье — часть поэтическая. . . . .	154
Застолье — часть патриотическая, с мордобоем . . . . .	168
Пять лет — не вечность . . . . .	185

### ВАШ РОМАН ПРОЧИТАН

Лагерная проза. . . . .	199
Еще не все потеряно . . . . .	207
Теперь уже все. . . . .	217
Соглядатай (III): <i>взрослеете, молодой человек</i> . . . . .	226
Дела вокзальные, глухие . . . . .	232
Психа . . . . .	246
В Склифосовского . . . . .	253
Соглядатай (IV): <i>Дон-Кихот в прокуратуре</i> . . . . .	266
Суперкрыса. . . . .	271
К отцу Алексею . . . . .	276
В трактире . . . . .	286
"Эх, ты-и-и..." . . . . .	297

### ПОСЛЕ...

В эпилоге . . . . .	305
---------------------	-----

*ДО...*

## ГЕРОЙ И ЕГО АВТОР

Батыево лето. Лето выдалось жарким до одури, прямо какое-то батыево лето. Солнечные лучи — как татарские стрелы. Рассветное солнце — прищуренный монгольский взгляд с холма на белокаменную, закатное — в том же зрачке отпылавшая Москва.

Сипягин отмахнулся небрежно:

— Это, брат, устарело. Азиатчину твою еще символисты до последней щепочки разобрали. "Летит, летит степная кобылица...". Скукота! Не-ет, сейчас другую литературу подавай — эк-зис-тен-ци-аль-ную... От пупа и ниже. Не человек в мире, а мир в человеке.

— История, значит, отменяется? — поинтересовался Дмитрий. — Не так уж и ново. Даже напротив.

— Не то чтобы отменяется, а в уголок ее, в уголок. А то больно она, старая, растопырилась посередке... Вот я и говорю... Исходя из новой эстетики, с чем сравним текущее лето? А вот с чем — с сухостоем, — и, захлебываясь довольным хохотом, Сипягин ладонью смахивал струйки пота с просторного своего лица, отчего пот тут же превращался в грязь, а сам Сипягин — в мо-

лодку в первом приступе вдовства. — Когда бабу пилишь-пилишь, а кончить не можешь — тут тебе и напруг, и трепет, и прочая пограничка.

И верно: каждый день к вечеру жара сгущалась, нависали плотные тучи с багровой изнанкой, толчками налетал на город душный ветер, тяжело бухали оконные рамы, за горизонтом ворочалось, стонало, посверкивало и — ни капли...

И множество завелось на Москве припадочных... Идет себе человек по улице или в трамвае, за ремни держась, раскачивается, вдруг — рухнул и уже в пене весь, в корчах, головой о землю бьется, невнятицу выкрикивает. Добро бы еще среди алкашей такое — народ изношенный, нежный... А тут — совсем приличная дамочка вдруг раскорякой осядет, то совслужащий в нейлоновой белой рубашке ворот на себе рвет: "Стреляйте, гады! Убивайте, суки!..", а то и вовсе девчушка-подросток сомлеет.

Одну такую Дмитрий и сам видел.

На выходе из метро "Библиотека Ленина", плотно зажатый со всех сторон, он почти носом утыкался в пушистый девичий затылок и, хоть угадывал, что горячее его дыхание затылку неприятно, ничего поделать не мог, да и не очень хотел — от каштановых волос исходил луговой дух влажной травы, дух одиночества и легкого обещания. На детской шее, возле ключицы, нервно билась голубая жилка. Дмитрий клонил голову то к одному плечу, то к другому — уцепить глазом хоть краешек лица... И разглядел, да не только лицо, а всю ее, когда в двух шагах от выхода, рядом с газетным киоском, она лежала на рыжей щетине клумбы, с закатившимися глазами, задранной юбочкой, и судорожно шарила вдоль тела скрюченными пальцами. Вне-



запно взбодрившаяся толпа окружала ее все более цепко.

А ночью она ему приснилась утопленницей: длинные ноги смертно вытянуты, руки разметались на пляжной гальке, а он суетится, не знает, что делать, как быть. И — такая тоска...

Поднес к глазам "Вегу" — цифирь светится, а стрелок не разглядеть... Отец на своей кровати заворочался, спросил сонно: "Что с тобой?"

\* \* \*

Происшествие. Чего хотел от себя, от мира — сам не знал. Вроде бы пора уже определиться, но, сколько в себя ни вслушивался, — ничего такого, никаких зовов особенных. Разноголосица — как настройка оркестра перед концертом. Вот выйдет дирижер во фраке, взмахнет палочкой... В иные дни казалось: вот-вот прорежется мелодия, она уже набухала, пульсировала, готовая прорваться, но... вечно что-нибудь мешало.

Так и в то утро. Погруженный в себя, шел он мимо "Детского мира", как вдруг дернулся от боли в запястье. С тупым изумлением смотрел на руку, на кровь, на серый асфальт в вишневых пятнах — да с ним ли это на самом деле? А уж кто-то рядом вопил дурным голосом, клубилась толпа, появился дюжий милиционер, сильно и нежно подхватил Дмитрия под локоть и, выводя из плотного скопища, зычно уговаривал:

— Не толпитесь, граждане. Разойдитесь... Не видите, что ли? Человеку плохо. Плохо, говорю, человеку. От жары сомлел. А ну!..

В медпункте "Детского мира" остановили кровь, сделали укол, перевязали и утешили,

что он не первый: бродит тут какой-то маньяк — ширяет прохожих то ли шилом, то ли гвоздем. Уже не раз смешивались с толпой одетые в штатское и ко всему готовые оперативники, но их, как назло, не пыряли... А впрочем, до свадьбы — вы женаты? — заживет: ни кость не задета, ни нерв...

День шумно отходил, прея в духоте улиц. Толкотни, нервозности прибыло. С инвалидной рукой в автобус-троллейбус и не думай — сомнут... Он миновал Кузнецкий мост, но перед самым нырком в подземный переход с Горького на Манежную, увидев стекающие со стороны Кремля плотные, плечом к плечу, толпы, покачнулся, оперся о мусорную урну — во рту кислело, ноги подкашивались, из урны несло гарью...

Машины, люди, багровый солнечный диск, напыленный на макушку кремлевской башни, линялое небо с проступающими лиловыми пятнами, далекое гроыхание и зарницы на краю света — все показалось вдруг чужим, но и странно знакомым, как если бы он в иной жизни, на иной планете, уже стоял под этим небом, на этой площади, и лицо его так же горело от жара, по телу пробежал озноб, а в нос шибало гарью из урны...

\* \* \*

У Сипягина. Что и как? Сипягин так и впился: где именно проходил? что значит "недалеко"? о чем думал? что почувствовал? протокол составили? Ах, нет?!

— Чего захотел — протокол! — высунулась из за ширмы бабка — облегающий рукав черного платья очень передавал птичью угловатость ее

плеча. — Составят они, как же... Ах, твари подлые, дождутся они, доиграются...

— Да что это вы, Вера Никандровна? — несколько опешил Дмитрий. — Маньяки при любой власти водятся.

— При любой? — ехидничая, удивилась она. — Да ведь не любая власть выше Божеского на себя берет: при мне-де ни безумцев, ни сифилитиков, на наводнений... Любая, нормальная то есть, давно бы предупредила: дорогие граждане, в таком-то месте — душевнобольной преступник, будьте осторожны... Вот так делает любая-то власть, но не наша, родименькая. Потому за все она у нас, хлопотунья, в ответе: и за погоду, и за природу, и за безопасные органы, и за опасные... Тьфу!.. — и бабка так же внезапно скрылась за ширмой, как и возникла.

\* \* \*

Бабка. За ширму Вера Никандровна ушла давно. Там у нее: плетеное кресло-качалка, словно из чеховских пьес; топчан, плоский, как нары; скучный канцелярский стол, на одной половине — книги, на другой — электроплитка. В кресле бабка читала (но никогда не раскачивалась), на топчане спала, на плитке готовила (чтобы в кухню не выходить, соседских физиономий не видеть). В комнате стоял тяжелый чад. На сипягинские доводы о преимуществах газовой плиты, даже и коммунальной, бабка отрезала кратко и не кротко:

— Помру — живи как знаешь. А пока я тут хозяйка.

Когда-то мир для Веры Никандровны кончал-

ся за порогом парадной двери, потом — комнатной, а теперь необитаемым стало все потуширенное пространство. Продукты и книги доставлял Сипягин. Про те и другие бабка говорила, что порченые.

Сипягин — было время — так и сяк подъезжал к бабке, вроде бы все выведал, однако не давалась она его перу, не давалась — так и бросил на двенадцатой странице.

Бабкина кровь — самая что ни есть голубая. И чуть ли не все предки, как часто при повышенной голубизне, с бунтарскими вывихами: тот еще при Петре ершился и бит батогами, другой при Екатерине в опальных ходил, третья сбежала с гусаром, уже зная, что он вольтерьянец, декабрист и в розыске на предмет препровождения в рудники... Сама Вера Никандровна еще в гимназии как-то незаметно или уже непамятно увлеклась нелегальными брошюрками и прямо с выпускного бала метнулась — блюдя семейные каноны — в пролетку, где третий час томился эсербомбист.

Эта часть бабкиной жизни еще кое-как давалась Сипягину — что-то вроде "Сельской учительницы": набережная... фонари... девушка в гимназической форме и накидке (конечно, развевающейся по ветру)... выпускной бал с мазуркой... юный красавец в студенческой шинели (само собой, революционер) ... пролетка... И хоть Сипягин знал, что Вера Никандровна родилась, выросла и гимназию заканчивала в губернском Воронеже, воображение упорно отсылало бабкину юность к петербургским туманам-гранитам-мостам, как будто "дореволюция" только в Петербурге и существовала. Может, из-за фотографии? Добротная картонная подложка, в правом нижнем уг-

лу — круглая печать с надписью "Студія Даццаро, С.-Петербурґъ, Литейный пр., 48, 1906 годъ", два огромных перепуганных глаза, тонкая шея утопает в воздушной блузе, из-под пикейной юбки выглядывают белые носочки башмаков, а рядом — смущенно сутулясь и все же нависая, некто в постной косоворотке, слегка оживленной плетеным пояском, студенческая фуражка лихо сдвинута назад, а в глазах такой же, как у бабки, медовый перепуг. Эсер-боевик, сипягинский дед, значит...

Был и другой снимок: на клейком гнущемся фотоклочке с зубчиками — бесполое существо в квадратной телогрейке, с вязанкой дров в руках и примерзшей к губам усмешкой. В правом нижнем углу карточки — каракули: "с. Караваяево, 1951 г., весна".

Герою "Сельской учительницы" повезло — вовремя и красиво умер, а бабкин муж — сипягинский дед — погиб голодной смертью на Воркуте. Совместить же кровавый понос с лихой фуражкой, с юной смесью смущения и дерзости Сипягин решительно не умел.

Почему ее не замели вместе с мужем, Вера Никандровна не могла взять в толк ни тогда, ни потом. Но гадать времени не было: вмиг повывелись вчерашние друзья, на улице отворачивались, каменели лицом знакомые, шушукались и вдруг, увидев ее, замолкали соседи, Надя во сне заходилась криком, из школы возвращалась в слезах...

— Допрыгался... Я еще в японскую предупреждала, что допрыгается, — сказала мужнина тетка — вроде бы только о племяннике, но на самом деле и о ней, Вере Никандровне, тоже. Но Надю

приняла и даже всплакнула над чемоданом с детским бельем и школьными учебниками.

От тетки пахло смесью уютной пыли и унылого тлена.

Вера Никандровна укатила в Челябинск (к Варе, гимназической еще подруге), но и там ей показалось беспокойно, и она забилась в забытую Богом и, казалось, властями приуральскую деревушку — учительствовать (ага! все-таки "Сельская учительница"! ). Там ее и достали.

О внуке Вера Никандровна узнала только в ссылке. Отцом ребенка случился какой-то младший лейтенант, на неделю вынырнувший из фронтового пекла и снова в нем пропавший, теперь уже навсегда. Вера Никандровна безотцовщиной внука не огорчалась: был бы какой-нибудь Воняков или Тряпкин, а так — Сипягин.

О болезни и смерти Нади ее известила тетка, приписав, что и сама дышит на ладан. "Цыганка нагадала: в следующем году Господь меня приберет. Ты уж там, Вера, поспеши как-нибудь, а то и комната пропадет, и внучонка в сиротский дом заберут".

И словно это письмо сдвинуло что-то: умер Сталин, убили Берию, вокзалы, поезда заполонил оглядчивый, пугливый люд в ватниках — вчерашние ээки. И все больше их, больше... Летом 54-го Вере Никандровне отменили ссылку.

Цыганка ошиблась: тетка не зимой почила, а в октябре.

\* \* \*

**Литературные забавы.** Примостившись на кушетке, баюкая забинтованную руку, Дмитрий читал

первую главу очередного сипягинского романа. На сей раз роман был о нем, Дмитрие.

На титульном листе красиво выведено черной тушью: "А. В. Сипягин", посредине — красным, крупно — "Дмитрий Несчастный", ниже — красной же тушью, но помельче: "Москва, Арбат, 196..."

И вот что он читал:

*Столкнись вы с ним где-нибудь в метро или на улице, и не оглянулись бы. И зря. Не то чтобы в нем бурлили особые таланты, а просто потому, что он хороший человек. Уж почему оно так получилось, что он хороший человек, сказать со всей определенностью трудно, поскольку детство ему выпало вполне заурядное, то есть такое, когда выработаться в хорошего человека решительно ничто не помогает. И отрочество с юностью никакой особой печатью отмечены не были. Ни наставников, ни друзей самобытных...\* В общем, специально его никто не воспитывал. Зато он читал запоем — все больше русских и зарубежных классиков. Приходится заключить, что именно книги были его совокупным наставником...*

Сипягин старательно отвлекался — то к бабке за ширму заглянет, то в коридор выскочит, но только Дмитрий шелестнул последним листком, он — тут как тут.

— В общем... — Дмитрий поерзал, принаравливаясь к пружинам. — Не кушетка у тебя — пыточное ложе, — искал он спрятать заминку.

— Ты на кушетку не переводи.

---

\* Автор, будучи другом героя, умышленно скромничает. — А. С.

— Я вот чего не понимаю. Ты сам говорил: старые формы изжили себя... Надо, чтобы — мир глазами героя, а не наоборот, потому что судьи над человеком в наше время нет. И так далее...

— Ну и что?

— А то, что твоя манера, знаешь, кого напоминает?.. Чернышевского.

Сипягина передернуло.

— Докажи.

— Раз плюнуть!... "Дмитрий Несчастный" — разве не приговор? Да плюс еще в хорошие человеки меня записал, то есть — в дураки. Ведь для тебя, хороший и дурак — почти синонимы. Вот тебе и Чернышевский — роман "Что делать?", глава первая: "Дурак".

За ширмой хмыкнуло.

— Ага! — как бы прозрел Сипягин, только что по лбу себя не стукнул. — Ты меня Чернышевским за себя пнул.

— Ну уж?.. Для меня-то хороший и дурак — не синонимы... Только ни хорошим, ни несчастным я себя не считаю. Я, как бы это сказать, средний...

— Средний — он и есть хороший, — зло и торопливо заговорил Сипягин. — Если обстоятельства не давят... По собственному желанию он только с работы увольняется. Надавит начальство — сподличает, а сподличав, мучиться будет. В том и разница: хороший мучается, подлец — нет. А поступают все, когда подопрет, одинаково — шкурно.

Из-за ширмы высунулась бабка. В одной руке сковородка, в другой мочалка, в лице — презрение:

— Прежде чем... Научился бы формулировать. Обстоятельства... начальство... А нравственный принцип где? — и скрылась, но тут же опять вы-



сунула голову. — Да прореху на штанах застегивай. Писатель...

— Я, может, в Эйнштейны готовлюсь, — засмеялся Сипягин, однако ширинку застегнул — и разозлился. — За собой смотри...

— Еще страниц двадцать-тридцать — и бросишь, конечно, — сказал, чтобы что-то сказать, Дмитрий.

— Это почему?

— Да ведь фабула нужна, сюжет... события всякие драматические. Что же, будешь выжидать, когда со мной что-то случится?

— Ничего, мне не к спеху... А потом... Что с тобой может случиться? Такого уж особенного?.. Не может и даже не должно... Не обижайся, — он хлопнул Дмитрия по колену. — Времена такие, и все мы такие: если с нами что и происходит, так по воле начальства — война там или всеобщая загребаловка. А сами мы события не продуцируем. И уж тем паче "хорошие", вроде тебя. Короче, в том и суть моего замысла: никакой детективщины, сплошь вопрошания, метания, а поступков — шиш!.. Это и будет экзистенциальная проза... Впрочем, попробуй тут — напиши, — он кивнул в сторону ширмы. — Только и высматривает, чтобы вцепиться и разнести. Для нее вообще литдеятельность — идиотизм... Так, бабка?

— Не передергивай, — снова высунулась та. — Литература... Была да вышла, теперь халтура пошла. Деньгам их завидуешь, а прямо подражать стыдишься. И то слава Богу... Только надолго ли? То у тебя литература кончилась, то, кричишь, началась, да только совсем какая-то новая... А как сам взялся за перо, так описатель из тебя и полез.

Сипягин поднялся, сдвинул стул поплотнее к столу — высвободилась дорожка от окна к двери. На ходу он ерошил лохмы, торчавший из-под рубахи животик подрагивал, и теплый, кислый запах давно немытого тела обдавал Дмитрия.

— Описатель, говоришь... Ну и что?

— А то, что жизнь у вас без остатка распадается на что сожрать да руками помять... И жизнь мертвая, и глаз мертвящий, как у Горгоны. А потом гуляете среди камней... тут как ни описывай — все каталог вещей да галерея картонных масок... И ты туда же метишь.

— Ну уж?! — Сипягин уже не ухмылялся — смотрел затравленно, как школьник, который знает: терять больше нечего, исключения не миновать и напоследок дерзит уже в открытую.

— Именно... И не стесняйся, чего там? Вон база твоя... Настрои романчик о героических буднях простых советских грузчиков, как они борются за доставку на прилавок свежих овощей... А Дмитрию судьбу не прописывай — носом не вышел, — и скрылась вмиг, словно с ветки ночная птица-сычиха слетела — бесшумно и страшно.

— Хоть бы свет включили. Чего во тьме-то сидеть? — уже из-за ширмы.

И оттого, что простую эту фразу произнесла, не сменив интонации монолога, слова "свет" и "тьма" прозвучали с обличительным пафосом.

— Ты меня базой не попрекай! Пока он в своем университете колупается, я... Да хоть что! Хоть роман настрочу, о грузчиках, как ты советуешь. Что ж, в этом углу треклятом так и гнить всю жизнь?!

И — рывком, обрушив по дороге стул, чертыхаясь — к выключателю...

Ударил свет, злой в своей внезапной яркости.

Селедочный скелет на дне тарелки... тяжелая черная муха дремлет в остатках яичницы... инвалидная этажерка... на стене узкая полоска ватмана: "Хочешь жить — умей вертеться". Даже любимые с детства синие цапли и важный китаец под зонтиком на ширме Веры Никандровны глядели сейчас жалко, отчаянно...

Дмитрий поднялся с кушетки. Вровень с окном — две старухи на скамейке, сидят каменно, широко расставив под ситцевыми халатами огромные ноги. Не разговаривают, только вздыхают согласно.

Из-за угла показалась девушка — юбочка колокольчиком над коленями, волосы "бабеттой", каблучки-шпильки. Старухи зашевелились, ожили.

— Во бесстыжие, — обиделась одна. — Юбчонки-то уже по самое некуда носить стали.

— Скоро их, стилижек, милиция начнет отлавливать, — утешила другая. — "Вечерка" писала.

И опять тишина, бабки замерли, как надгробные изваяния, автомобильные шорохи чуть долетали, словно из другого мира... Огромная, налитая дынной спелостью луна висела над черными трубами, над крестами антенн — настороженная, недобрая...

За спиной, в комнате — тоже тишина, и тоже недобрая... Сипягин лежал на кушетке с закрытыми глазами. Бабкина остроносая голова в зеленоватом свете настольной лампы вписалась в мертвый хоровод цапель и китайцев на ширме...

— Ну ладно, — сказал Дмитрий. — Я потопал. Поздно уже.

## СТРАХИ, СТРАСТИ...

Третьего не дано. У отца не было ноги почти по колено. Дмитрий сперва даже гордился: "На войне потерял!", но отец, услышав, остудил: "Несчастный случай, на шахте..." И только уже взрослому объяснил:

— На все своя цена: Париж стоит мессы, а жизнь, прикинул, — ноги. Выбора особого не было. Мог, конечно, загнуться, с ихней-то медпомощью. В лагере только смерть скорая... А не рискни я, все равно в шахте долго не протянуть. Третьего же, кроме шахты да лесоповала, двуногим не дано — ну и сунул ногу под вагонетку.

Домой он приковылял на исходе серенького октябрьского дня. То утихал, то снова скребся по крышам мелкий дождик, порывами насакивал ветер, шевеля мокрые холмики листвы вдоль улиц и во дворах. Играли в "казаков-разбойников", и Сипяжка, слепо касаясь рукой пыльной стены, крался по темному подвалу. В сумеречно-сером полукружии туннельного выхода маячила квадратная фигурка Жиртреста с деревянным ружьем наперевес. Дмитрий распластался на поленице, упираясь затылком в холодный потолок, в локоть впивался сучок, но

шевелинешься — Сипяжка учует. Грустно пахло пылью и мышами. Если зажмуриться, темнота за веками начинает искриться, в ушах нарастает тугой звон...

— Ми-и-ить! — донесся издалека, из другого мира голос матери. — Домой! Сей минут!

И что-то было в ее голосе, не то испуганное, не то ликующее... Дмитрий соскользнул с поленицы, метнулся мимо Сипяжки — "Чур, не считается!" — мимо Жиртреста, отбросив его плечом.

За столом расположился дядька, одни кости и желтый какой-то. На столе дымились три тарелки. Дмитрий не привык, чтобы у них ел чужой, мать и то не всякий день садилась ("Ешь, сынок, я свое на дежурстве отобедала").

Три тарелки, пузатые бокалы с вином, чужой дядька, мать, внезапно помолодевшая и потому тоже какая-то чужая, да еще в этом зеленом платье с высокими плечами...

Мать взяла его за руку:

— Мить, это папа, — и подтолкнула к худющему.

Тот рывком поднялся, больно вжал Дмитрия в полу колючего пиджака, подхватил подмышки, сиюсь оторвать от пола, приподнял и тут же отпустил, а сам с перекошенным, синеющим лицом грохнулся на стул, застонал, и тогда Дмитрий увидел — одна нога у него деревянная. Мать бросилась на кухню за водой, Дмитрий — на улицу. Во дворе уже никого не было, дождь набирал силу, под ногами вязко чавкало. Юркнул в закуток между сараями и затаился. Карболкой, вспомнил он наконец, карболкой — вот чем разило от колючего пиджака. И еще вокзалом. По-

рывом налетел ветер, дождь вскользь стеганул по выступу железной кровли над головой...

Долго еще Дмитрий, выговаривая "папа", про себя переводил его в "дядьку" — что-то перекошенное, какой-то отзвук первоначального обобщенного испуга не проходил.

\* \* \*

**Проблема перевода.** Толик Сипягин домой лишь спать ходил, а так у Громовых крутился. Ничей, думали, мальчишка, как вдруг объявилась у него бабка. Опытному глазу враз ясно, какого поля ягода.

Времена были зыбкие, однако после смерти Главного, страх не то чтобы истаял совсем, но увял, как будто забился под кровать, куда по весне Валя складывала зимние вещи — из дому не ушел, но жить не мешал. Еще с год тому: "Лагерница?!" — шарахнулись бы, а тут в первый же выходной зазвали на обед. Шутка сказать: оставила дочь в бантиках, а вернулась на могилу, да на внука — круглого сироту...

По воскресеньям засиживались допоздна: Николай Парфенович с бабкой — за чекушкой, Валя — за портвейном, от которого и ребятам перепало. Тишь да гладь вроде, но копились трещинки, занозы, пока однажды чуть не развалилось все.

— Николай Парфенович, вы разве Митю не обучаете английскому? — ни с того ни с сего удивилась Вера Никандровна.

Отец, подносящий ко рту стопку ("послед-

ня”, — предупредила Валя), задержал ее у самых губ и ответил легко:

— А зачем, Вера Никандровна? У них по школьной программе английский с пятого класса, тогда и выучит. А сейчас к чему лишним голову забивать? Он и так в учебники не каждый день заглядывает, от Майн Рида да Купера за волосы не оттянешь.

— Ну, милый, что мальчишки наши до сих пор Купера с Майн Ридом читают, а главное, что не запрещают им читать, — это, быть может, последняя наша надежда, может, благодаря этому мир держится и еще продержится... Это — во-первых. Во-вторых, до пятого класса еще два года, а с языками, сами знаете: чем раньше, тем лучше, а если поздно, то никогда... А потом знаете, кто у них английский преподавать будет? Ах, не знаете... А я вот случайно знаю: Зоя Власьевна. Та самая. Она ко мне на днях заходила познакомиться. Чаю с вареньем откушала, разговорились... Девочка старательная и весьма чувствительная, у нас в гимназии таких ”Бедными Лизами” называли... Узнала, что вся моя пенсия тридцать целковых, плюс за мать вон Сипягину двадцать два рубля, и в слезы: ”Ах! Ах! — говорит. — Бедненький!.. Вы теперь ему и отца, и мать заменить должны, но, — утешает, — мы вам поможем”. ”Какая уж тут помощь? — отвечаю. — Мне бы не только отца с матерью, мне бы еще и дедушку, и тетушку Ирину Алексеевну, и кузена Левушку, а также дядю, известного честностью правил, заменить не мешало. На всех не напасетесь...”. Не поняла, конечно... Ну, у меня к ней особых претензий нет: чему ее учили, тому она учит.

Милый, я уж про ее вологодский английский

молчу. Какой там английский, когда бедняжка и русскому-то не обучена!.. "Куда это я свой портфель задевала?" "Молодежь", и, уж конечно, не пионер, а эдак, знаете, с шиком: "пионер"... А вы говорите: "с пятого класса".

Вера Никандровна явно благодушествовала: сняв очки, щурила большие блестящие, словно с другого лица взятые глаза, со вкусом затягивалась папиросой и как будто (а может, и в самом деле) не замечала, что настроение за столом изменилось.

Дмитрий еще первоклашкой был, когда Николай Парфенович купил сказку про трех поросят на английском. Но и до первого урока не дошло — Валя увидела злосчастных поросят, спросила: зачем? — побелела и в первый и в последний раз устроила скандал с истерикой, слезами и проклятиями.

— Языку, значит, английскому обучать хочешь? А как ты ему объяснишь, откуда сам язык этот гадский знаешь?.. Расскажешь?.. Что расскажешь? Что ты шпион английский? Мало тебе было пайки лагерной, ты и Митьку посадить хочешь? Забыл, как следователь мордой об стол толковывал: раз язык — значит, в шпионы метишь?! Господи, и зачем я только с тобой связалась, фашистом недобитым?.. Ну, Николай, вот тебе мое последнее слово: хоть одну букровку эту сучью дома увижу, вот тебе крест святой — настучу... Не для того я брюхатая по зоне ползала, крапиву сырую, как последняя скотина, жрала — для мальчика хоть какой витамин в себя толкать... По баракам, как нищенка, ходила, тряпку лишнюю канючила — согреть, сбережь... Знаешь...



чтоб ты... чтоб я... передачи сыну в тюрягу носить?!

Валя сидела, низко опустив голову, заплетая в косички скатертную бахрому.

— А может, не гоже при ребятах про учительницу выражаться, авторитет подрывать?

— Ну, Валюша, ребята наши, слава Богу, и смышленные и начитанные... Сами все видят? (Сипягин с Дмитрием закивали: еще как видят!)

И отцу:

— Жаль, Николай Парфенович. А я уж думала Сипягина своего к вам пристроить. Лучше вас никто произношение не поставит: все-таки английский — родной ваш язык, не выученный...

— Нет, Вера Никандровна, не родной. Тут вы ошибаетесь, — голос Николая Парфеновича лязнул с необычной для него жесткостью. — Я вот от двоюродного брата письмо получил. Он меня, оказывается, чуть ли не с сорокового разыскивает... Ну, спрашивает, как да что, каких продуктов, вещей прислать, а в конце: не хочу ли я в Канаду, так он похлопочет... Он мне — по-английски, хотя русский знает прилично, а я ему — по-русски, хотя, как вы отметили, английский я не в здешней школе учил. И не из страха, поверьте. А знаете почему? Потому что о нашей жизни на другом языке как-то не получается. Не переводится она, в отличие от Шекспира с Байроном... Я тут главное про жизнь узнал. Про смысл, цену ее, вкус... Я здесь заново родился... С муками, кровью — как положено. А там словно и не я жил — так, болото, мелькание, мельтешение какое-то... Канадский год за русский день засчитывается... Так я ему и ответил: "Живем нелегко, но... никаких Канад..." Я бы и не прочь одежонку

какую-нибудь получить. Хоть вон для пацана. Но кто его знает, чем за эти тряпки завтра заплатишь... Насчет тряпок, между прочим, я ему по-английски: не нуждаемся, да и незачем нам выделяться, в иностранном ходить... Вот оно и получается: про одежду, продукты да про здоровье можно и по-английски, а если про жизнь высказать, как она с тобой обошлась, какой смысл ты из нее извлек — только русский язык подходит.

Вера Никандровна долго полировала очки кончиком скатерти, надела, погасив недавний блеск в глазах, и ответила устало:

— Не переводится, говорите, наша жизнь на другие языки? Ваша правда — не переводится. В том и несчастье, что не переводится.

Воскресные обеды после того вечера понемногу прекратились, однако посиделки по праздничным поводам еще продолжались — в основном ради ребят. В школу — вдвоем, из школы — вдвоем, в драках дворовых — плечом к плечу, в проделках — неразлучны... Так, по крайней мере, виделось со стороны и так казалось Сипягину. В себе он ценил изобретательность и осмотрительную дерзость, в Дмитриии — исполнительность и верность. И еще годы спустя, уже далеко отойдя от детства, очень дорожил этим общим опытом. Однако хоть и были Сипягин с Дмитрием всегда рядом, вместе — очень редко.

\* \* \*

Славные игры. "Рубль" делается так: в углу проткнуть дырочку, продеть в нее нитку подлинней, рублевку — на тротуар, а самим — в подворотню. Тополиный пух носится по переулку, в подворотне парко, от мусорных ящиков приванивает...

Тащится какая-нибудь старушонка в магазин, на ходу губами перебирает, высчитывает, на что денег хватит, на что нет. Глядь — рублевка перед ней целехонькая, хоть и замызганная. Вздрагивает старая, озирается украдкой и, как бы поправляя башмак, нагибается, а рубль — прыг!.. Она за ним, он от нее, и так — чуть не на карачках — до самой подворотни, где ее оглушает взрыв здорового детского смеха. Славно!..

А то еще кирпич в картонке из-под обуви. Кто же утерпит, чтобы не поддать? Да еще со всего маху!..

Дело было к вечеру, студено, малоллюдно. Наконец замаячила сутулая мужская фигура, голова в воротник втянута, ступает нетвердо — человек немолодой и вроде в подпитии. Увидел картонку, из воротника вынырнул, распрямился, как-то подпрыгнул даже и — вмазал... Ну, захохотал, перекинулся, как водится, да вдруг и повалился набок, нелепо взмахнув кошелкой — в снег посыпалась картошка...

Нахохотавшись, наладились к школе — лампочки вывинчивать, но Дмитрию вдруг сделалось скучно. Возвращался он той же улицей. Уже миновал припорошенную снегом картонку, успев отметить, как умят снег на обочине и — ни одной картошины, когда из подворотни к нему качнулась сутулая тень.

— Мальчик, помоги до автобуса добраться...  
Ногу вот повредил.

Искривленное болью лицо в седой щетине, посиневшие от холода губы, печальные, покорные глаза...

... — Ты, значит, жалостливый, а мы вроде сволочи, — уличил Сипягин.

— Да нет... Просто, одно дело — издалека. Издали смешно, потому что безлико... И потом подумай: шел печальный человек и вдруг приободрился, почувствовал себя моложе, что ли, некая удаля в нем шевельнулась... Ну, положим, причина дурацкая — картонка эта. Да ведь не в причине дело, а в этом его желании распрямиться... И вдруг — на землю, опять на землю... Да еще хохочем при этом... Как будто и без нас мало в жизни унижающего... Кажется, именно тогда это во мне шевельнулось. Смутно, конечно... Видишь: прошлое у нас общее, а каждый уже тогда готовил о нем разные воспоминания.

Сипягин насмешливо хмыкнул:

— Разные-не разные — не в том суть. Мальчишеские игры — известно, жестокие. Как жизнь сама, между прочим. А ты как-то сопливо подходишь. Тот же кирпич... Идешь старый, согнутый, ну и иди, знай свои силенки. Так нет — потянуло его на молодечество! Ну и получай! Ведь это же возвращение на землю, к реальности, к самому себе, каков ты есть на самом деле. Я не против, чтобы он приободрился. Но не иллюзорно, не за счет пустой картонки, не по дешевке. И если у него и вправду что-то еще сохранилось, только такое возвращение на грешную землю может ему помочь. Остальное — сопلي на веревочке. Впрочем, в нереализованный потенциал слабых да гунявых я не верю. Анекдот такой старый: ковыляет мужичок, а тут канава, он подразбежался, да не одолел — и плюх, как жаба в колодец. "Эх, ста-арость, ста-арость!.." Потом зырк-зырк по сторонам — никого. "А впрочем, я и в молодости такое же говно был".

Дмитрий досадливо сморщился:

— Слыхали... "Падающего толкни", "рожден-

ный ползать — летать не может” и прочее ницшеанство из подворотни.

Я как про падающего слышу, так старушонку вижу: идет она по обледенелой мостовой, из последних старушечьих силенок, за что ни попадая хватается, только бы не упасть, а тут ницшеанец гоголем из-за угла выплывает и коленкой под зад дряхлую, как велел Заратустра: лежи, мол, развалина, и скучай — такие твои возможности...

— И правильно, правильно, — хохотал Сипягин. — Таковы суровые законы жизни.

Так они спорили, ни в чем не умея согласиться.

Вдруг запоздало выплывал очевидный вопрос: “Ну, хорошо, пусть он говно, но нам-то зачем канаву рыть? Мы-то кто, эту канаву роющие? Кто мы-то со своим ”кирпичом”?”

А через день-другой Сипягин ошарашивал вроде бы ни с того ни с сего:

— А как же ты, гуманист, не отцу своему, а бабке посочувствовал?.. Ведь тот истязатель — помнишь? — тоже нищий, дряхлый, а ты ему — харк в морду!..

— Это дело особое, — отбивался Дмитрий. — Тут не безликая старушонка, а вполне конкретный гад... Не путай.

\* \* \*

Все смешалось в доме Облонских. Эк, вспомнил!.. В те времена связи Веры Никандровны с внешним миром еще не сводились к вылазкам в ближайший продмаг, но включали в себя редкие — все более редкие — променады по Гоголевскому бульвару. Там к ней и подковылял пьяный старикашка.

— Нищих не люблю, но двугривенного не жаль. Вдруг — шрам, от носа к уху, фиолетовый, как пиявка... Зотов! Следователь!.. Но опомнилась: у того не только шрам, самого уха не было — отсекли, вопил, басмачи... Я чуть не упала — так кровь в голову ударила... В кожанке всегда ходил, как что — плеть из стола вытягивает. А тут жалкий, грязный, вонючий... Что делать? В морду плюнуть?.. Ну, хорошо, на этот раз не он оказался, так ведь мог бы и он... Это что же за страна такая подлая, хоть на улицу не выходи — палача встретишь! Вы только сообразите, Николай Парфенович: через лагерь никак не меньше миллионов семидесяти прошло, у каждого семья — лишенцы... Это ведь две трети страны, а остальные — или палачи или пособники.

— Ну, Вера Никандровна, зачем же так с плеча? — возразил отец, однако руки его вопреки рассудительному тону заметно дрожали — он отложил молоток, извлек из башмака железную лапу. — Не так это просто. Мой, например, следователь сам в мясорубку угодил. Он меня сапогами месил, а потом его месили, даже и руку сломали. Потом в лагере по помойкам кормился... Так что... "Все смешалось в доме Облонских": сегодня — начальник, завтра — печальник. В смысле — мученик. Так по какому разряду прикажете его числить — по жертвенному или палаческому?

— А по разряду, — жестко сказала Вера Никандровна, — как в народе выражаются: "За что боролись, на то и напоролись".

— Ну, Вера Никандровна, это не про нашу честь... Мстительность эта, злорадство... Вот вы обознались, а я ведь и вправду своего встретил. Не первого — тот на помойке так и загнулся, —

а другого, вполне благополучного. В плаще этом начальственным, габардиновом, шляпа зеленая, велюровая... Пузатый уже, а тогда еще шустрый был, как петушок, — подскочит и врежет, подскочит и врежет... Все по почкам норовил.

Еще при Вале было. Куда-то я в метро ехал, смотрю — сидит мой Тотоев... А мы же тогда — помните? — духом воспрjali: двадцатый съезд, к прошлому возврата нет. Ну и выиграло ретивое — встал я над ним, молчу, но деревяшку вперед выставляю: не изволите ли, дескать, местечко инвалиду уступить? И глазами его жгу... Думаете, не признал? Еще как!.. Думаете, смутился, стушевался или еще там что? Ничуть!.. Дождался остановки, встал и в лицо мне — не громко, но отнюдь и не шепотом: "Жалко, не доби́ли. Но ничего..." В смысле — еще добьем, дескать...

— Ну и? — спросила Вера Никандровна напряженным, враждебным голосом.

Дмитрий спиной чувствовал неловкое молчание отца. За окном только что весело пролился дождь, слышался перестук тяжелых капель, обрывающихся с крыши, напористо чирикали воробы, смешно ероша промокшие перья. Над головой брякнула рама, и хриплый голос дяди Васи-в-рот-меня произнес с легкой грустью:

— К осени, в-рот-меня, катится... Вон уже и клен, в-рот-меня, желтеет, — помолчал задумчиво и тут же кому-то у себя за спиной, бодро: — Я мотну за маленькой, а ты обеспечь фронт закусона.

— Ну и? — настаивала Вера Никандровна.

Дмитрию сделалось стыдно за отца — не убил гада своим костистым кулаком, а теперь вот молчит...

Отец закашлялся.

— А что я мог?

— Да хоть в морду его поганую плюнуть!.. Ну ладно мой, нищий... Пусть бы я не обозналась, и в самом деле Зотов оказался... Так нищий, жалкий — впору заколебаться. Но пузатому в морду не плюнуть — это уж... это, Николай Парфенович, простите, верх рабства!



## ОТЕЦ. МАТЬ

В дураках. О прошлом отец не очень распространялся. Дмитрий деликатничал, с расспросами не лез, хотя и томился любопытством. Зато Сипягин не слишком церемонился.

— Ну, а если по самой последней совести, дядя Коля: жалеете, что приехали, или как? — ни с того ни с сего спросил Сипягин, словно продолжая недавний задушевный разговор. Но никаких разговоров в тот вечер не было — корпели они с Дмитрием над шпаргалками к последнему школьному экзамену, а отец только-только вернулся из магазина, едва успел, устало вздохнув, опуститься на диван.

Дмитрий застыл над учебником, только прищур, призванный демонстрировать особую погруженность в текст, выдавал притворство — не глаза в этот миг работали, а уши.

— Экая ты, право, зануда, — неохотно ответил отец. — Все тебе по полочкам разложи. Сам мозгой шевели, — и окаменел, уставясь в окно, где между сумеречных облаков еще тлела спиралька заката. Тлела, тлела и погасла — палевые облака враз почернели и обуглились. — Жалею-не жалею... Не те слова, мещанство какое-то, — сказал своим несколько скрипучим голосом и, крикнув, поднялся с дивана. — Пойду подышу.

Но у двери задержался:

— Кто за мягкой жизнью гонится, того можно спрашивать: "жалеешь или как?", а мне участвовать жгло. История делалась, и не участвовать обидно. А что оно не совсем туда повернулось, так это... Выправится еще, для истории сто лет — не крюк. Другой коленкор — слепота... верили всяким вещающим. Это вот обидно, в дураках ходить... А так... Чего ж жалеть? — добавил он с непонятым вызовом и усмехнулся жестко чему-то, о чем вспомнил, но не сказал.

\* \* \*

За мировое счастье, за домино под липой! Вниз всегда трудней, чем вверх — Николай Парфенович сердито вбивал деревяшку в лестничные ступени.

Умники, все превзошли, думают... Пора уж протезом, что ли, обзавестись. А мы как будто дураки были? Такие же умники, тоже все знали.

На скамейке под окнами раскачивалась старуха, ладонями утюжа жирные ляжки. Только потеплеет, тут как тут, а то и две-три. Наблюдают: кто с кем, кто кого, что принес?

Надо все-таки вывернуть эту чертову скамейку. Или спилить ночью. Дождаться, когда ветер — не услышат. Сипягиной подарок, пусть не думает... Ссора ссорой, а еще когда обещал спилить? Лет пять тому.

— Парфеньч, — окликнула его старуха. — Ты б мне тапти, что ли, сшил. Я отблагодарю. Да об-союз и теплые чтоб...

Николай Парфенович остановился на миг:

— Я уж, соседка, давно это дело бросил. Извините.

Еще на подходе к магазину увидел высматривающую двоицу, кивнул, на ходу извлекая из пиджака рублевку. Ничего, кроме "Полынной", не было. Взяли "Полынную", теплую, заранее тошнотную.

— В садок или во двор? — одышливо озаботился пузатый, пристраивая бутылку в пиджачный карман.

— В сквере дружинники, — возразил второй, красновыйный, в офицерском кителе без погон.

И опять колотили о фанеру стола доминошники, а под липой посреди двора покоилась инвалидная коляска: совиный профиль, и глаза тоже совиные — желтые, со злым стеклянным отблеском, — под окутывающим одеялом угадываются обрубки ног. Голова на жилистой шее хищно повернулась, Николай Парфенович глянул в желтые зрачки — и опять между ними пробежала как бы искра узнавания.

Треснуло за столом и — радостный вопль: — Дупель три!

— Нос подотри! — послышалось в ответ, тоже громко, но невесело.

Красновыйный протянул Николаю Парфеновичу стакан, пузатый выгреб из вислого кармана горсть сушек и подбодрил:

— Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Николай Парфенович выдохнул и выпил. Нет, определенно, это Марк Пинскер с Бэрроу-стрит, вождь комсомольской ячейки, пламенный оратор...

"Сгруппили твои старики, Громов! Еще бы десяток какой-нибудь годков продержались — и пожалуйста: рабоче-крестьянское царство! Как это называется, где они батрачили?"

"Смоленщина".

”Да и мои тоже проявили классовую несознательность. Погромы им свет застили... А теперь там никаких евреев, одни рабочие. Давайте, товарищи, споем ”Бандьера росса”, чтобы весь Ванкувер слышал”.

...Пришли вон с переписью этой — года два уже тому? — и та, очень еще ничего из себя, заигрывая:

— А где это Ванкувер? В Эстонии, что ли?

И побледнела. То нарочно щиколотками за ножки стула цеплялась, чтобы колени растянули раструб юбки, а тут закрылась, коленями хлопнула. А жаль: с низкого дивана почти угадывалась точка, где сходятся крепкие ляжки и дышит пах — черный, мягкий, алчный, как губы негра...

— А я ему так прямо и говорю, — бубнил пузатый, — одним — все, другим — залупа конская. Сеструхе — козу и самовар, братану — кирзачи и тулуп, а мне... И так всю жизнь, хоть бы кто копейкой одарил, а все — либо из огня горючего, либо из говна тягучего добывай.

— Хрущ-падла, поувольнял военный народ, — хрустя сушкой, уныло сказал красновыпный.

В 31-м его уволили, он тогда на механическом у братьев Симменс слесарил. Кризис, безработица, угрюмые толпы у заводских ворот, из-за которых доносится хриплый гуд, обрывающийся в мертвую тишину, словно кто-то огромный душит машины, заталкивая кляпы в разинутые пасти механизмов... И так живо было чувство кем-то для подлого своего удовольствия устроенной западни, таким откровенным издевательством звучало слово ”кризис” (ну что это в самом деле, лесной пожар? наводнение? снего-

пад?) , что однажды, выстаивая в толпе безработных, увидел, как в директорском окне хищно приоткрылась штора, не выдержал, подхватил с земли ржавую железяку и запустил туда, в темнеющий квадрат окна. Попал и в окно, и в полицию, и в черные списки...

”Мы здесь мучаемся, — гремел Марк, и жестяной голос его бился о голые стены типографского подвала. Пахло плесенью и мочой. — Мы здесь страдаем, а совсем рядом, в каких-нибудь двух тысячах километрах, если через Северный полюс, бодро дышит огромная рабоче-крестьянская страна, без буржуев и полиции, без кризисов и локаутов, без приниженных улыбок на пролетарских лицах... Дышит глубоко, свободно, на весь мир, строит города и планы, кует железо и будущее, осушает вековечные крестьянские слезы и орощает пустыни...”

Морозы там не хуже московских. Трясешься на углу с этими газетами. А то еще деревянная трибуна на тачке — где митинг, туда и вези... А когда стал гулять с Джейн Хантер...

”Ты чего с троцкисткой спутался?”

”Я?”

”Ты! У нее отец троцкист. Да еще бензоколонку купил”.

Это на прощальной вечеринке — провожали Марка в Москву. А потом слух, уже в Испании: шлепнули как врага народа... Ан, видимо, нет.

— Простите, товарищ, вы не Марк Пинскер, случаем?

Желтые глаза прикрылись веками, дернулся кадык:

— Вали отсюда, пидар гнойный! — прошипел.

Николай Парфенович отшатнулся, въехал бедром в мусорный ящик у ворот...

Совсем стемнело.

Кретин! Агитатор вшивый! Так тебе и надо — сиди теперь под липой, слушай до окончания века "дупель три — нос утри"!

Это Оксана загорелась: "В Испанию! Коммунисты мы или кто?" Еще и квартиру новую не обжили, еще Ленушка — ползунок... Нет, давай!.. А потом Громов в летчицком шлеме, с Юмашовым и Данилиным в обнимку. Особенно Громов: скуластый, глазки весело щурятся, улыбка от уха до уха распахнута. Во всех газетах. Какой же там террор, если такие улыбки?.. Отец, стыдливо смаргивая слезу, басил:

"Наши ребята-то... российские... смоленские... А Громов, может, и сродственничком каким приходится", — и все считал, пальцев не хватало: в одной Трофимовке полсела Громовых.

А оказалась одна тетка Аграфена. Тот в голод преставился, других война-тюрьма повыбила, Витька-Сопля от самогона сгорел... А хорошо весной по лесу шлепать, пусть и на деревяшке. Листочки клейкие, живые... первая травка умылась талой водой, на полянах припекает, хотя в ложбинах, под еловыми лапами — снег, дырковатый, словно стрелянный из дробовика. Курточка на Митьке аж курится от беготни — как щенок, мокрый, веселый, ноздри раздуваются от лесной этой духовитости. Я ему: это бёрч, это фёр-три-и, а если ее на доски пускают, то — ди-ил. А он:

"Ты, пап, по Канаде скучаешь?"

\* \* \*

Ребята в коверкотах. Угадал, пострел... Смолен-

щина та лесная — ну точь-в-точь Канада, особенно к востоку, к Эдмонтону и озерам.

А Модест:

”Что твоя тухлая Канада, ты бы глянул на наши леса, раздолбя!.. Воюешь ты геройски, вот раздолбаем Франко, я тебе советское гражданство отхлопочу”.

Раздолбать не раздолбали, а отхлопотал. И комнату на улице Героев Челюскинцев, в кухню войдешь — международный форум: Фишеры, тоже интербригадовцы, на английском шпарят, Пигрю, коминтерновцы, на французском, Хуан Лопез с Хуанитой — на испанском.

Модест:

”Оцени деликатность властей — это тебе для смягчения резкости перехода к новой жизни”.

Но нет: хочу в гущу ”настоящих” советских людей. И давай писать насчет обмена, ан глядь, коммуналка начала пустеть. Сперва заглохла испанская речь, потом французская... И вот уже Ксана — полная хозяйка кухни, Ленушка до обеда плещется в ванне, и никто ее не дергает, не подгоняет... А потом пришли, под утро — все как один в коверкотовых пальто.

”А это что такое?”

”Кольцо для обеденных салфеток”.

”Ясненько. А еще за рабочих себя выдаете...”

Но вполне вежливые: минута вам, говорят, на прощанья-обниманья. Это уж потом, на следствии... Только бы до суда не забили — дотянуть, высказаться, прокричать: какой я шпион?! Да я... да мы!.. Завели в комнатушку, мы — ОСО, говорят. Вот тебе червонец с литерами ПШ. И слова не дали сказать, всех минут-то разве что две. Суд-хуюд! Вот тогда-то и ухнул в отчаянье. Даже

когда Тотоев по почкам охаживал, утешался: суд, все объяснится... А тут ухнул в темь безысходную. Когда в 49-м вызвали на вахту ("Распишись еще за десяточку"), и то не так обидно было... "А за что, гражданин капитан? Суд дал десять..." — "Ну, Громов, не будь таким уж формалистом". Спасибо ноге. Да Лейбовичу, вечная ему память. Не подсунь он меня в актировочную комиссию, так и парился бы еще лет пять. Вот так-то, Митя, вот так-то, гражданин Сипягин!

Проревел один самолет, другой... Над головой треснуло, словно высадили в небе окно — по земле покатались осколки, гулко рикошета о стены домов, дребезжа стеклами. Николай Парфенович задрал голову в вечернее небо, но ничего, кроме первых, еще блеклых звезд, не разглядел.

И как этап, особенно женский, — к вахте кандыбаю: может, знает кто про Оксану? Чувал, что и ее не миновало... Тогда тоже темь подступала, прожекторы на вышках, фонари на запретке, мошка гудит — женский этап из Тайшета, шатаются, иные на карачках в зону вползают. Наконец старуха... А может, не такая уж старуха... Тряпка на голове, вроде половой — вместо платка, на самые глаза, по-раскольничьи. Встречала, говорит, как не встречать — еще в 42-м преставилась от голода, в Озерлаге. А взяли ее за полгода до войны, как и меня самое, сами-то мы баптисты будем, а ее за то, что против германцев говорила... За что только не брали? Хоть бы и Валю, девчонку еще, ножки — палочки... На три года. По чужой карточке отоварилась. На три года! Вот так-то. Хорошо, в больничке пристроилась, повезло... И я тут как раз с желтухой, а отошел — столлярничать оставили, мусорам са-



поги тачал. А как засекали, что Валя затяжелела, меня волоком на вахту — и в зону, в зону, да еще по шее кум взрезал. И на свободе — ну-ка женись без справки, что Ксана померла. А где ты ее возьмешь? Хорошо, Модест надоумил. Митька кривится на него, а он, хоть и с оглядкой, а навещал, тогда еще не отставной, пронюхай они — полетели бы его генеральские звезды, а то и хуже... В МВД, просьба разыскать Оксану Ивановну Дорошук, год рождения — 1916-й, место рождения — г. Нанаимо, Канада, последнее место жительства — г. Москва, ул. Героев Челюскинцев, д. 17, кв. 3... И дрожи полгода: что ответят? не потащут ли самого по новой? Нет, слава Богу: "Розыски оказались безуспешными". Вот тогда только и в загс под ручку с Валея. А все одно с оглядкой да шепотом, пока не накатила волна — реабилитировали. Может, показать, какая бумажка на Ксану пришла? "Считать невиновной... умерла в 1943 году от воспаления легких". И не знаешь: в 43-м или в 42-м? Баптистке той, пожалуй, больше веры. А уж где померла, и не спрашивай... Ленинушку, Ленину сперва в детдом имени Крупской, да фамилию сменили вражескую, а на какую — документы пропали в эвакуацию. В Златоуст увезли, потом в Пермь, а кого в Челябинск. Из Златоуста: "Ленин в 1941 году числилось не то восемь, не то девять. Трое из которых умерли от болезни". Это вы сейчас такие смелые — за чужой счет. Сверху вам сообщили об ошибках, а вы и бросились презирать. Такие-то умники и мы были — что скажут, то и правильно. Да и смелость-то не своя, а сверху разрешенная. Хомут поотпустили, а вы уж и нос кверху... Умники.

\* \* \*

Стук-постук... Считалось, что Дмитрий в отца выдался — и ростом немалым, и всей сухой статью, и лицом. Но кость чуть тоньше, плечи уже, подбородок круглее, складка губ мягче — и вот уже совсем другое лицо. Настолько другое, что позже, много позже Дмитрий ловил себя на том, что не удается вспомнить, как выглядел отец. Ну, сутулая спина, кисти рук в ржавевой шерсти... Глаза блекло-голубые, что ли?.. Углы рта всегда опущены... Но все это как-то по отдельности. Он доставал конверт с семейными карточками — все становилось на место, но стоило отвести взгляд — лицо опять распадалось.

Вечерами отец надомничал: лудил кастрюли, шил тапочки, чинил примусы и ботинки... Дядя Миша с Волхонки приносил обрезки кожи, дратву, подковки.

— Смотри, попадешься, — вздыхал отец. — Сколько тебе?

— Не бойсь... А попадусь, тебя не продам... Красненькую, думаю, по совести будет, — и совал тридцатку в задний карман ватных брюк — тех же зимой и летом. — Все стучишь, дятел? Жилплощадь украшаешь? — он кивал на желтый абажур из парашютного шелка. — Эх, ты!.. Живи просто и весело. Вон я, как Суворов, на полу сплю — и ничего.

— Вот именно, жилплощадь, — возразил ему раз отец. — Слово придумали... На жилплощади не живут — существуют. А нам жить надо.

Львиное лицо дяди Миши — с седыми бровями, широким раздавленным носом и жесткими сивыми усами торчком — сделалось грустным:

— Так-то оно так, — согласился он, — да веры

под ногами нет: сегодня украшаешь, а завтра тебя к ногтю...

До Октября дядя Миша был кучером, утро начинал стаканом "Смирновки" и ломтем черняшки с икрой и луком. Кажется, не врал — все повадки кучерские, хоть сейчас в кино снимай: огромный, толстозадый, руки всегда на отлете, как будто держат вожжи.

\* \* \*

**Достали-таки.** В одно из воскресений отец, не сказавшись, пропал с утра. Явился в сумерки, навеселе, в руках бумажный пакет.

— Ну, счастье тебе привалило, Валентина. Всего только с девяти утра выстоял. Вот она, спасительница-то, — он похлопал себя по деревяшке. — Палочка-выручалочка!.. Конечно, переплатил малость, так ведь оно того стоит. Гляди...

Про босоножки мать сказала:

— Их разве что на руках носить, и то не во всякую погоду.

Про кофту:

— Как ряса поповская.

Но тут же, прижав обновки к груди, спряталась за дверцу шифоньера, пошуршала там недолго и вышла. Такой Дмитрий и запомнил ее: вдруг молодой, легконогой, в глазах — радость и смущение...

А неделей позже она, вернувшись с работы, села на кровать, охнула и повалилась на бок.

Почему-то долго не приходил похоронный автобус. Гроб стоял изголовьем к парадному,

почти перегородив узкий тротуар. Подошла чужая баба, завывла со слезой:

— И-и-и... родименькая... кормилица... И на кого ж ты нас покинула, сиротинуше-е-ек?..

Громяхая клюкой, вышла Вера Никандровна в облезлой котиковой шапочке поверх серого шерстяного платка, туго завязанного на спине, с муфтой и в валенках, но без пальто. Не глядя ни на кого, подошла к гробу, постояла, сказала в пространство:

— Достали-таки, сволочи! — и пошла обратно.

Подкатил на служебном "Москвиче" главврач Валиной больницы, пожал руку отцу и сочувственно произнес:

— Настоящая была труженица... Незаменимый работник.

Нянечка, сменщица Валина, пожаловалась: час уже, почитай, ждем автобуса. Главврач осудил:

— Безобразие! — сел в машину и укатил.

Мороз был несильный, но пронзительно мела поземка, больно кусала лица, приподнимала простыню с гроба... И каждый раз, когда показывалась Валина нога в зеленой босоножке с металлической подковкой на каблуке, отец наклонялся и засовывал простынный угол поглубже, чтобы не поддувало.

Все, что было дальше: как подъехал наконец автобус... как добрались до кладбища... как ругались с водителем, который, перепутав, выдал крышку не от того гроба... как стучали молотком и опускали мать в землю — все это Дмитрий видел в каком-то оранжевом тумане, как будто

оранжевое солнце било ему прямо в глаза, хотя солнцем в тот день и не пахло. Это был жар — начало болезни, опасной и долгой, из которой он выбрался только через месяц.

## ДОН ХОЗЕ. ГЕНЕРАЛ

О, Испания!.. Тяжело было болеть, но скучнее — выздоравливать. Отец скрипучим своим голосом читал бесконечного Жюль Верна; утомившись, расставлял на койке шахматы. Рассуждали о том, почему к непогоде ревматически крутит давно отрезанную ногу, чем отличается Россия от Канады и что хорошего испанцы находят в бое быков... Так появилась Испания. Загадочная страна, такая нездешняя... Даже странно, что отец воевал там. словно речь шла не о нем, сутулом, с неизменно виноватым лицом, но о ком-то резком, ясноглазом... И Дмитрий присвоил Испанию.

На всякий случай спрашивал:

— А какой он, Мадрид?

Отец, уставясь в пол, подтверждал:

— Красивый. Очень даже.

И Дмитрий не нудил о подробностях, он и так видел старый, огромный город, подпирающий сухими точеными башенками небо в ярких белых звездах. Чем ближе к утру, тем отчетливей проступает город на фоне светлеющего неба... уже видно, как люди в пилотках и беретах бегут вдоль извилистых улиц с ружьями напере-

вес и молча, бесшумно валяются на теплые, не успевшие остыть за ночь плиты... Один из них — Хозе. На шее у него красный платок. На голове алый берет.

\* \* \*

**Убийца должен быть убит!** Историю Хозе Дмитрий целиком, не подправляя, взял в свою Испанию.

Этот Хозе (про себя Дмитрий называл его дон Хозе) целых пять лет разыскивал убийцу своего отца. Убийца бежал во Францию, а у Хозе, тогда совсем еще мальчишки, не было денег, чтобы настичь и отомстить. И он бросил школу, и пошел работать, и копил деньги, а в свободное время учился стрелять без промаха и драться кинжалом.

Прошло три года. Хозе приехал во французский портовый город Марсель. Но убийцы там уже не было — он перебрался на остров Куба. Снова Хозе копит гроши, только на тир не жалует денег — днем работает, а вечером идет стрелять. И так почти два года. Наконец он покупает билет на пароход. В Гаване он с трудом находит своего врага, сменившего облик и имя. Теперь он богатый коммерсант. У него жена, двое детей.

Поздним вечером Хозе перелезает через садовую ограду. Окна первого этажа широко распахнуты, мягкий свет льется на лужайку, но не в силах пробить тропическую зелень сада, где притаился Хозе... Океанский бриз шевелит верхушки пальм... Хозе подкрадывается к окну, заглядывает внутрь. Так и есть — вся семья в сборе. Убийца читает газету, его жена, надменная краса-

вица, крестит на ночь детей (длинные локоны, панталоны с кружевами — взяты из иллюстраций к "Оливеру Твисту"). Дети уходят. Хозе вытаскивает пистолет и ставит ногу на выступ стены...

— ...Особенно зимой неумоготу. Стояли мы под Сарагосой. Окопы рыть — мука: сплошь камни. Навалим мешки с песком да глыбы известняка — вот и позиция. Холодрыга, а дров нет. Так, ерунда кое-какая: вереск, розмарин, дрок — пыхнет, и все, ни тепла, ни чаю согреть...

— А ему не жалко было этих детей, что он их сиротами оставит?

— Ты о чем?.. А-а... — отец невесело усмехается. — Как тебе сказать?.. Хозе говорил: "Крысу убей и не печалься о крысятах".

Дети уходят. Хозе вытаскивает пистолет... извлекает пистолет и ставит ногу на выступ стены. Конечно, он мог бы, почти не рискуя собой, подстрелить врага на улице, но тогда это будет просто убийство, а не вендетта. Законы вендетты требуют, чтобы казнимый знал, за что и от чьей руки он погибает, и чтобы в последнюю минуту он увидел лицо своей судьбы.

Хозе спрыгивает с подоконника в комнату, с пистолетом в руке подходит к окаменевшей от ужаса паре и говорит, глядя врагу в глаза: "Ты убил моего отца. Во имя справедливости — убийца должен быть убит!" Тот падает на колени, протягивает пачку денег, молит о милосердии ради жены и детей...

Хозе стреляет в упор.

— А у испанцев какие пистолеты были?

— У испанцев?.. Всякие были, какие попало,



но больше браунинг да "вальтер"... Да... Ну, стреляют, конечно, не очень-то высунешься, так что другой раз прямо тут же, на позиции, оправлялись... Наш кабо, капрал то есть, все бесился из-за этого и — стрельба-не стрельба — в долину ползал, пока его там фашистский дозор не прихватил. Хорошо, мы шум услышали — отбили кое-как. Геройский парень был, из Польши. Потом с ним, правда, нехорошо обошлись, несправедливо...

Хозе наводит тяжелый "вальтер", стреляет в упор и спокойно выходит через парадную дверь, хотя жена убитого — надменная красавица в белом кружевном платье — уже звонит в полицию...

— Пап, — говорит Дмитрий, и впервые это обращение дается ему без труда, — а ведь тебя тоже обидели, правда?

— Видишь ли, сынок... Истории не мстят... Давай-ка лучше температуру мерить.

(И часто потом мерещилось Дмитрию, как вдруг нечто роковое вырывает его из круга дворовых игр, из школьной доуки: он должен посвятить себя одному, только одному — мести за поруганную справедливость. И все радости мира не для него, он — бледный, гордый — служит своему делу...

Лишь много позже, с усмешкой вспоминая эти мечтания, отметил, что и тогда не задерживался на картинах собственно мести, как бы и не доходил до них вовсе, всегда застревая на видении себя — гордого, печального, бледного, где-то в горном уединении, без единой улыбки на из-

можденном лице... Легчайшая улыбка — предательство делу, которому себя посвятил...)

Завтра надо допытаться, как это понимать, что "истории не мстят". А пока, быстро воскресив в воображении фигуру в алом берете, с ружьем наперевес бегущую по рассветной мадридской улице, он спрашивает:

— Пап, Хозе погиб героической смертью, да?

— Героической, говоришь?.. Конечно, героической. Безусловно, героической...

\* \* \*

Всему есть предел, Коля!.. Только спустя годы Дмитрий достоверно узнал, как погиб Хозе.

Обрюзглый, обвисший весь, но юркий, как тушканчик, генерал на ходу мелко перебирал кривоватыми ножками, зато когда сидел, тяжело навалившись грудью на стол, обретал начальственную монументальность.

Непонятно было Дмитрию это приятельство, и так и сяк он его объяснял, но более всего сходилось, что мучило генерала одиночество, потребность в душевной выпивке... А отец? Должником себя чувствует, что ли?

Генерал появлялся обычно в сумерки, слегка уже навеселе и, забавно морща носик, извлекал из портфеля бутылку коньяка "Арарат", лимон и какую-нибудь редкую колбасу, а то и рыбу копченую. Под первую половину бутылки шли: Каховка, Каховка, родная винтовка... сколько мы за эту власть крови пролили!.. Чьей, спрашиваешь?.. А всякой: вражьей не считали, своей не щадили... Гренада, Гренада, Гренада моя... Какие

девочки в Мадриде, черт возьми! Помнишь, Коля?.. Ах, да — ты же с супругой своей там пребывал... Сглупил: в Испанию со своей женой — все равно что в Москву со своей "Московской"... Все прошло... Как с белых яблонь дым... Но недаром прошло, нет, недаром... вот сын у меня... орел!.. эстафету, так сказать, принял... что бы там ни писали космополиты всякие обрезанные: конфликт, мол, отцов и детей!.. праспур... порас-пустились, сволочи... где тут у тебя? Нет, где уборная, я знаю... Где там твой личный, именной, так сказать, запас технической бумаги? Слева или справа?.. Вечно забываю.

Шатаюсь, он выходил в коридор, и слышно было, как громко рыгал, мучительно извергая блевотину в унитаз. Возвращался бледный, с прилипшими к вискам потными прядями, хмурый и, с размаху опрокинув рюмку, говорил, что вся жизнь — псу под хвост... никому его опыт и знания не нужны... шиферу на крышу не допросишься... щенки всякие повылазили... что ж, что дом в Абрамцеве?.. На хрен ему это Абрамцево сдалось... Сын? Что — сын?.. Махровый эгоист, отца родного в грош не ставит, ждет не дождется, когда копыта откину — дом захватить... Невестка? Кра-са-ви-ца?!.. Паскуда, фифа дешевая... Он, Витька то есть, всю карьеру себе об нее ломает... Давай, Коля, по последней... за гренадскую волость... все равно жизнь поломатая...

Но однажды генерал сразу заявился в таком виде, как будто, уже отблевав свое, вернулся из сортира. И с первой рюмки пошло то, что обычно приходилось на последние: жизнь поломатая... кирпича — забор подлатать — не допросишься... невестка — сука... внук растет — эгоист, весь в отца...

— А вот сегодня пошел я на Лубянку, в архивах поковыряться: запомнил, кто у них там в Барселоне главный троцкист был и когда в точности шлепнули его... Как шлепнули — помню, а когда — забыл... память-то не луженая... сколько еще после той Каталонии-Барселонии пришлось пережить, ну и шлепнуть скольких тоже... Сижу, роюсь, а тут гнида какая-то ко мне подваливает: вас, мол, начальник зайти просит... Начальник!... Мы с ним ноздря в ноздю шли, он, почитай, на два года меня постарше будет и кашляет весь, а гляди: я — на пенсии, а он все еще в начальниках ходит... А хоть бы и в архивных... Захожу.

”Здравствуйте, Модест Петрович... Ну, как ваше ”Ничего себе”?” Это он мне, значит, выкает и по отчеству величает... А давно ли я ему Модей был, а он мне Васей?... Ну, думаю, не в наши штаны ветер дует, коли так... И словно в воду глядел...

”Вы, — говорит, — я слышал, мемуары пишете?”

Пишу, говорю.

”И много написали уже?”

Да еще, говорю, лет за пятнадцать отчитаться осталось...

”Что ж, — говорит, — вы всю свою жизнь описываете?”

Моя жизнь, отвечаю, отдана всецело служению партии и советской власти, и я, говорю, описываю этапы большого пути, в которых сам участвовал, винтиком, так сказать...

”И на чем вы сейчас остановились в вашей работе?”

Я, говорю, остановился на всемирно-исторических испанских событиях, как испанские товари-

щи с нашей помощью троцкистско-анархистскую нечисть ликвидировали.

”Ага, — говорит, — понимаю...”. Еще бы не понимал — он у меня там в порученцах шустрил...

”А дальше, — спрашивает, — что входит в ваши творческие планы?”

А дальше, говорю, в мои творческие планы входит, как мы бандеровские гадюшники по лесам ихним давили. Тем, говорю, и кончу.

И тут он меня обухом по голове:

”Мой, — говорит, — вам задушевный совет, Модест Петрович, и вы, конечно, понимаете, что это не только мой личный совет, — это, так сказать, общее наше пожелание: оставьте вы свои мемуары — ненужное это сейчас... А уж если к литературе тяготение имеете, что невтерпеж, так пишите, — говорит, — про свое нищее крестьянское детство, как вам советская власть путевку в жизнь выписала... Или там про беспризорников, как вы их личным примером перевоспитывали, последним куском хлеба делились... А про испанских троцкистов-анархистов, как вы... (Слышишь, Николай, не ”мы”, а ”вы”!.. А ты где был, сука драная?..) ... как вы, значит, их с испанскими товарищами в расход выводили, — про это, — говорит, — забудьте до лучших времен. Не лейте, — говорит, — воду на мельницу... И архив испанский мы временно закрываем, так что, — говорит, — не стоит вам сюда так часто ездить... Здоровье, — говорит, — и личный покой дороже всего”.

Ну, как тебе это нравится? Нет, я, конечно, понимаю, что такое ”генеральная линия”. Скажем, вчера еще, когда ложился спать, Гитлер был враг наш смертельный, а тут спросонья слы-

шишь — он уже друг, с которым, рука об руку, будем бить мировых буржуев... Так и глазом не смей моргнуть, и не то что внешне, а и про себя не смей — внутренним, так сказать, глазом. Моргнешь — проморгаешь... Я и не моргал... Но ведь всему есть предел, Коля!.. Ведь Испания — это наша героическая молодость, наша гордость... Ведь мы там как сталь закалялись... Да не в борьбе с врагами, а с собой, с собой, Коля... Ты этого не знал, ты с другой стороны пришел, тебе не понять, что значит — на горло собственной песне... Бывало, пьешь с парнем — свой в доску, всю ночь напролет пьешь... "Камарадо, — говоришь ему, — но пассаран". "Но, — отвечает, — пассаран, товарищ...". Брата он тебе родного ближе, так бы и расцеловал... А утром вызывает тебя главный, товарищ Ольцов, морда очкастая, жидовская, и протягивает новый список агентов троцкизма, врагов международного пролетариата... И первым там дружок твой вчерашний, который брата родного ближе... Ну, веришь, Коля, иной раз жить прямо не хотелось, а что поделаешь? Надо! Если враг не сдается — сам знаешь... Ты думаешь, я этого... как его... Хозе, дружка твоего, не уважал? Ты думаешь, когда мы его, раненого, из госпиталя в Барселоне выволакивали, я не знал, как он в госпиталь попал?!.. Тебя, дурака канадского, из-под огня тасил, когда тебя вот в плечо-то шарахнуло... И это забыть?!.. Архивы, говорит, прикрываем испанские!..

\* \* \*

"...Глаз стал человеческим глазом точно так же, как объект стал общественным челове-

ским объектом...". Лицом к стене, Дмитрий лежал на диване, уставясь в страницу пятьсот девяносто вторую первоисточника: К. Маркс, Ф. Энгельс, "Из ранних произведений". Взгляд его буксовал на строчке про глаз, который стал человеческим, а мысли разъезжались, как ноги в гололед. Выслушивать генеральские монологи было тошно, не вслушиваться — невозможно.

В первую минуту даже не сообразил, что речь о том именно Хозе, а когда сообразил — ничего особенного, к собственному удивлению, не почувствовал. Этот новый, другой Хозе, вытасченный из барселонского госпиталя и наверняка тут же, на улице, пристреленный, не проникал в сознание картиной, даже самой банальной: волоком по уличным плитам... заскорузлые от крови бинты... Великолепный Хозе и этот старикан? Нос башмачком, уши заросли серым мохом. Этот вот говорун — хозяин жизни и смерти?..

На секунду закрыл глаза, проверяя: да, по рассветным мадридским улицам до сих пор бежит с винтовкой наперевес благородный мститель Хозе. И этот вот шут гороховый?.. С его потными висками, геморроем, блевотным бульканьем в сортире, с его словечками, приговорочками генеральскими: "Философской смене физкульт-привет!.. Ну, как, уже отличаешь Бабеля от Бебеля?.. Хо-хо..." Или: "Сынок-то у тебя, Парфеныч, в новые красные профессора, небось, метит... Гляди, и выйдет — от старых, почитай, никого не осталось, так что свободные вакансии имеются... Ну, наше вам с кисточкой..."

Вот на эту "кисточку" — чем ответишь? Плевком? Ненавистью? Ледяным презрением?.. А тем и ответишь: "Всего доброго, Модест Петрович".

Дмитрий вытянулся на боку, плотно прикрыл

веки, притворно засыпающим движением уронил книгу и выровнял дыхание. На слух определил: вот генерал встал из-за стола... Теперь к двери пошел — снимать с гвоздика макинтош габардиновый... нет, остановился... Отец — шепотом:

— Спит.

Генерал — громко:

— Спит — это хорошо. Солдат спит — служба идет... Ну, Николай Парфеньч, наше вам с кисточкой, здоровьишко береги: я да ты, да мы с тобой — последние, брат, могикане, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела... Я так думаю: кирпичу они мне теперь выпишут непременно, в виде, так сказать, компенсации...

Дверь наконец хлопнула, но легче не стало. Затылком почувствовал отца над изголовьем.

— Спишь, сынок?

.....

— Ну, спи, спи, — явно не веря, сказал он.

Шаги, стук двери — ушел. Дмитрий задумал вздохнуть с облегчением, а вышло тоскливо. Включил настольную лампочку, поднял соскользнувших на пол Маркса с Энгельсом — они сами собой раскрылись все на той же пятьсот девяносто второй странице:

”...человеческим объектом. Поэтому чувства непосредственно в своей практике стали теоретиками...” Вот чушь!.. Что значит ”глаз стал человеческим глазом”? А чем был?.. Ламаркизм какой-то...

Вспомнив зеленый двухтомник с благородным профилем в буклях на тисненном переплете, а заодно вспомнив, что упитанный этот двухтомник дожидается его на абонементе, Дмитрий затосковал еще сильнее. Хоть сутки спи, а сядешь за библиотечный столик — веки наливаются тяжестью.



Вздрогнешь, вскинешься — перед тобой Ленин на тупорылом броневичке кепкой машет, а под ним три таблички, из которых первая запрещает книги рвать и пачкать, вторая — выносить из читального зала, а третья приказывает любить книгу, источник знаний.

Но что же делать? Книг на дом не дают, а без Ламарка к Картузику на экзамен и соваться не стоит.

\* \* \*

Шерлок Маркс и Фридрих Ватсон. У Картузика был глазной тик. На философском он читал курс общей биологии. В эпоху гонений на вейсманистов-морганистов Ламарк вроде бы пошел в гору, и все-таки Картузик ухитрился пострадать за него. Но тюрьмы избежал: покаялся в перегибе и, следуя дарвинистскому учению о приспособлении, стушевался — улизнул в деревню, где долгие годы втолковывал малолетним школьникам про тычинки, пестики и перекрестное опыление. И теперь, хотя его вернули в университет и про ламаркистскую ересь не поминали, он говорил о Ламарке с такой неостывшей ненавистью, как если бы тот на прошлой неделе у него любимую жену свел.

— ...не эволюция, а потребность, видите ли, порождает орган. Не приспособление к окружающей среде, как учит нас гениальный Дарвин, а, так сказать, спортивные упражнения, физкультура формируют орган... То есть, к примеру, не потому человек видит, что у него есть глаза, а потому у него есть глаза, что он захотел видеть... И этот бред некоторые так называемые ученые

на так называемом Западе до сих пор вносят в анналы естественной науки, — сардонически гремел Картузик, и его собственный орган зрения безостановочно и заговорщицки подмигивал, как бы отрицая все исходящее из органа речи.

Если Картузик исходил желчью разоблачительства, диаматчик Юренков неизменно пребывал в тихом сиянии, в благостном ожидании великого события.

Событие предстояло такое: оказывается, большая часть ранних произведений основоположников, то есть еще тогда написанных, когда оба находились в первоначальном приступе гениальности и в близости к ее источнику — Гегелю, — не только не переведена на русский язык, но даже и по-немецки не издавалась, а пылилась в рукописных архивах института Маркса—Энгельса, и лишь недавно, на волне всеобщих пересмотров и реабилитаций, эти работы начали понемногу из архивов извлекаться, а когда извлекутся все, мир философии преобразится, сияя, обещал Юренков.

Прославленная пара основоположников в воображении Дмитрия выворачивалась другой парой, не менее прославленной: Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Перед горящим камином, с трубкой в зубах, с выражением любовного взаимопонимания на породистых лицах... Одновременно выбиваются о каминную решетку трубки, одновременно подносятся к ироническим губам кружки с подогретым пивом. Там, в тумане, в законных далях, незримо свершается гигантская умственная работа: корпят математики, травятся новооткрытыми веществами химики, бессонно припадают к телескопам астрономы... И каждую минуту совершается пре-

ступление: что ни ученый, то чего-то в своих собственных открытиях недопонял и уж наверняка все в философских выводах из них же извратил...

— Ну-ка, Ватсон, в чем главная философская промашка Ньютона?

Ватсон напрягает натренированный историко-экономическими загадками лоб:

— Ин... индукция?

— Вы делаете успехи, мой друг... Но смелее, смелее... обобщайте!

— Индуктивный осел?

— Браво!

Дмитрий к естественным и точным наукам был вполне равнодушен, но, вычитав у Энгельса про "индуктивного осла" Ньютона, несколько опешил, прежде чем расхохотаться.

\* \* \*

Разлив души. Нет, решил он, не пойду. Тем более что денег сегодня ни копейки, а Витька Гусев, он же Гусь, заранее объявил, что не придет.

Многочасовое библиотечное сидение обычно заканчивалось тем, что Дмитрий, переглянувшись с Гусем и Мишкой Заксом, по прозвищу Загс, энергично вставал, деловито складывал книги и, блюдя главную библиотечную заповедь, бесшумно направлялся к стойке. За ним, но вроде бы сам по себе, — Гусь: избыток мрачности на боксерском лице, книжная стопа упирается в крутой подбородок. Минуту спустя подтягивается Мишка Загс, нарочито сосредоточенный, словно вот-вот постигнет наконец некую мудреную философию, но ветчинный румянец во всю щеку — предательская улика: тоже дрых...

Энергично и деловито ссыпáлись по лестнице, не произнося ни единого слова, не сбавляя упругого ритма, проходили мимо "психодрома" — университетского дворика — и устремлялись дальше, к "ленинским местам" — на Ленивку, где в одном из магазинчиков продавалось вино в разлив. Дальше сюжет выстраивался по средствам. Если денег было в обрез, вино сливали из стаканов в пустые бутылки, похищенные из ящиков в соседнем магазине, и шли в "ресторан № 1" — укромный закуток возле помойки во дворе психологического факультета. Устроиться там можно было с комфортом, поскольку тут же, у помойки, громоздилась куча плакатов, транспарантов, портретов вождей и основоположников. Кучу эту разбирали только дважды в год — на первое мая и седьмое ноября, — а в прочее время ею можно было пользоваться разнообразно: из транспарантов сооружали стол, на плакатах возлежали, а Мишка Загс, напившись, выхватывал из кучи первого попавшегося вождя и маршировал с ним перед помойкой, распевая "Сталин и Мао слушают нас".

Ну, а если заводились деньжата, устраивались и вовсе роскошно — в пельменной, рядом с "разливом". Брели порцию пельменей на двоих, две — на троих, вино дули из-под стола, но культурно — старуха уборщица, в обмен на пустые бутылки, приносила стаканы.

Иногда к ним присоединялась Лия Вейн с филологического, тонкая, хорошенькая девочка в очках, которые ее вовсе не портили. Ходила она (ни для кого не секрет) ради Дмитрия, хотя вдвоем они редко оставались, и никаких особых слов меж ними сказано еще не было.

Лия пила мало, пьянела быстро, но трогатель-

но — розовела, снимала очки и читала на память Пастернака, особенно часто: "Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души", выделяя восторженным придыханием "разлив души". Тут она быстро и значительно взглядывала на Дмитрия, и он догадывался — это признание, но не ему, а его: дескать, она понимает, что у них (у него) — не вульгарная пьянка с дешевым зубоскальством, а смятение чувств, духовные поиски, "разлив души". Без очков глаза у нее неожиданные — длинные, серо-голубые с тяжелыми нездешними веками.

"...объектом... поэтому... чувства непосредственно в своей практике стали теоретиками". Страстные у нее глаза. Именно... А у меня страстности и в заводе нет. Так — шепот, робкое дыханье... На генерала вон и то злости не хватает...

## ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Лето в городе. Надвигался стройотряд. Опять какой-нибудь цементный завод, как в прошлом году в Энгельске, городишке пыльном, словно борода мельника. Работали не то чтобы тяжело, но все как-то бестолково — то день-деньской валялись на седой от цемента траве, то до утра разгружали вагоны с кирпичом, щебенкой, досками... И загорбил сущие гроши. Уж Сипяга вдоволь поиздевался, но и дельным советом не обошел:

— У тебя ж отец — инвалид! Бумажкой заслониться — раз плюнуть... При чем тут "ловчить"?.. По закону! А я бы тебя на базе своей пристроил — в денежную бригаду.

Действительно — в деканате на бумажку хоть и кисло глянули, однако от стройотряда освободили. И вовремя: удобная работенка подвернулась — ночным кочегаром в котельной.

— Ну, конечно, — скривился Сипягин. — Ловчить нам невместно. Денежки нам нужны, а пачкаться ради них... Базой он, видите ли, брезгует, "леваков" не уважает... Да в этом дерьме вся страна сидит.

— Соборное дерьмо не грязнит? — высунулась

из-за ширмы бабка — очки в руке, поймав солнечный луч, сверкнули длинным рапирным блеском.

— Нет, не грязнит. А вот щеголять белой рубашкой, когда все в дерьме, — дешевое пижонство.

Деньги шли неплохие, но придвинулся сентябрь — если в деревню, так именно сейчас... Отцу — пыжиковую шапку, чтобы человеком глядел, а не колхозником в ватном треухе; себе — кожаные сандалии, свитер и четвертый том философской энциклопедии. На факультете давно ждали этот том с Сергеем Аверинцевым о христианстве — предвкушались тонкие намеки, этакое, что ли, скрытое проповедничество. Наскоро просмотрев "Новый завет", "Обращение", "Откровение", "Патристику" и ничего особо намекающего не обнаружив, Дмитрий занялся рюкзаком. На спину — одеяло, сложенное впятеро, на дно — плиту философского тома, на него — жестяные полешки тушенки и зеленого горошка, потом, чтобы отгородить, смягчить, — вафельное полотенце, полотняные мешочки с рисом, макаронами и сахаром, а уж потом — бутылку "Столичной", смену белья, плавки, тапочки...

\* \* \*

Из деревенской жизни. До Калинина, конечно, электричкой, а там, как повезет, — семь верст, не дальний свет, даже и мальцом, случалось, одолевал: тетка Настя то за керосином, то топор наострить гоняла. Он матери раз похвастался, что сам в город ходит, так она, доставив его в

следующее лето к сестре, затеяла крик, хоть та и старше ее в полтора раза.

Шершавый язык суховея шелушил лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи, по косичке запущенных волос пот сбегал в ложбинку затылка и щекотал меж лопаток. Томительно белела бесконечная лента дороги, то ныряя в складки полей, то снова, втрое поуже, убегая на восток...

Как вдруг сзади обнадеживающе затарахтело — автобус в клубах пыли. Дмитрий посторонился, длинная тень его сшагнула в никлые овсеца — лениво вспорхнули сытые грачи, словно облитые черным, с фиолетовой искрой, лаком. Автобус круто затормозил, присев, зашипели дверцы — из кабины лихо скалилась девчонка: круглое лицо в гречке веснушек, рыжие глаза с озорными блестками.

— Садись, залетный!.. Вишь, кака жердь вымахал!

\* \* \*

В деревне словно ни души, запах пыли, тягучая тишина. У избы с жестяной вывеской "Продмаг" куры подбирают просыпанный овес, на дверях, перечеркнутых ржавым засовом, тетрадный лист: "Уехавши на базу. Ньюра". Каждая третья развалюха заколочена, улица проросла травой, вдоль жиденьких изгородей пыльные заросли лопуха и крапивы. Под пологим бугром вызванивает прозрачная речушка в осоке и ивняке, за ней — через поле — темнеет ельник.

Настасья Степановна тут же — чугун в печку, а сама — в огород, припала к грядке...

Дмитрий скинул сандалии. Устеленный лоскутными дорожками пол опасно пружинил, одна



доска возле окна и вовсе провисла — из черного провала несло погребной прелью. В щербатых горшках на подоконниках — ночная красавица и ванька мокрый, в литровой банке на буфете с резными причудами — пригоршня кленовых листьев вперемешку с бересклетом.

Спать прилажился в щелястом сарае на краю огорода. Ложился едва смеркалось, зато и просыпался чуть свет. Щекочет ноздри росистой свежестью, всякий дальний звук вольно стелется по утреннему воздуху, два мураша с подтянутыми животами сцепились из-за сенной травинки, под тонким одеялом зябко... Вот, скрипнув дверью, выходит на двор тетка Настя и начинает чиркать оселком по косе.

— Эй, Настя! — послышался прокуренный голос. — Опять на колхозное добро метишь?

— Како колхозное? Богово... Я же по лесу да по канавам — все равно сгниет-сгинет, — голос ее нерешительный, оправдывающийся. — Что ж теперь, как я, старая, вне колхозу, так и козам моим подыхай?..

— Это я так, к слову... Дивуюсь, где ты еще находишь косить — пожухло уж все.

Настасья Степановна принимается опять чиркать по косе, но, звякнув пару раз, говорит:

— Пол в избе совсем провалился. Хоть бы доску одну, председатель... Вон у конторы сколько навалено — продал бы одну.

— Да они трухлявые.

— Мне хоть какуюю.

— Продать не продам... А ты завтра встань поране да выбери, какая сподручней. Пока народ дрыхнет.

— Ой ли?

— Я тебе говорю.

— Ну, спасибо, кормилец.

— Только, если что, на меня не ссылайся... Раз-два управься. Ясно?

— Ясно, ясно, как не ясно. Я уж завтра затемно...

— Винца у тебя, Настя, нет ли?.. Голова чтой-то трещит, прямо раскалывается до самого дна.

— Винца-то? Есть малость. Племяш вон приехал погостевать, так привез бутылку зеленого — пили да не допили. Пошли в избу-то, что ли...

\* \* \*

Дачный роман. Нашлись у тетки Насти и рубанок и лучковая пила — под окном забелела новая доска. Войдя в охотку, Дмитрий взялся было и за дрова, но уж больно припекало. К речке шатким строем пылил детский сад, впереди по-утиному переваливалась воспитательница.

— А ну, подтянись! Песню! — скомандовала она.

”Мы шли под грохот канонады! — закричали детишки. — Мы смерти смотрели в лицо...”.

Как и вчера, мимо огорода тугой походкой прошла ”барыня”, она же — ”дачница”. У песчаного бугра заколебалась, высматривая, куда бы ступить лакированными босоножками, брезгливо дернула крутым плечом, согнав щекотливую мошку.

Прогромыхала телега, волоча под собой тень. Голова легонько кружилась от пьяноватого запаха стружек, раскаленных солнечным припеком. Дмитрий сунул в авоську энциклопедию, краюху хлеба, флягу с водой и — к речке.

Солнце подкрадывалось к середке неба, и, гонясь за тенью, он все плотнее жался к прибреж-

ному кусту, пока ноги и вовсе не соснулись в прохладную воду. Треснул сучок, зашуршало — прошли, оскальзываясь в траве, две белые ноги. Он неслышно повернулся на бок — "барыня" в красном купальнике и сизой косынке. Ухватившись за осоку, она попробовала воду ногой и начала осторожно спускаться в речку, зябко ежась всей спиной. Остановилась, деликатно коснулась воды ладонями, помазала ими живот и плечи, шагнула смелей, но вдруг оступилась по грудь, громко ойкнула и, забавно оттопырив круглый зад, поплыла по-собачьи, быстро-быстро перебирая под водой руками. Проплыв метров пять, развернулась и начала загребать к берегу.

— Подглядываете, молодой человек? — весело спросила. Солнце било ей в лицо, и она, вжав голову в угол согнутой руки, выглядывала из-под локтя. — Нехорошо.

Вблизи она оказалась старше, под тридцать, вокруг глаз уже наметились морщинки, но грудь и бедра по-девичьи упруго распирали купальник.

Ночью Маргарита призналась, что заранее высмотрела его в тех кустах. Вот уже год, как она свободна — не менять же Москву на Иркутск, куда мужа-майора погнала служебная судьба. А главное, он такой прозаический человек: ни в театр, ни в оперетту, только и знает — к полковнику, пульку расписывать.

\* \* \*

**Развязки.** Все было не то. Университет... Занудство, не философия, а зубрежка цитат. Маргарита... Воскресенья с ней быстро выродились в будни с раздражительным привкусом обязательности.

Плюнуть на все и укатить, кисло размышлял он, но тут же спотыкался: а отец? Да и куда ехать-то? И что это даст?

Только ночью Маргарита не раздражала, ночь была ей к лицу. А днем... То игривые — под проказницу-хохотушку — ужимки, то театрально-страдальческий прищур подчерненных глаз, то — от ерунды какой-нибудь — приступ хохота: голова закинута назад, чтобы можно было еще раз полюбоваться ее и вправду сахарными зубами и чтобы грудь поострее оттопыривала кофточку... Волосы ее отдавали прелью.

Но однажды, вдруг не застав ее, едва не час топтался в подъезде. Час самоедства и раскаяния... Так и кинулся навстречу... чтобы — много ли спустя? — юлить и врать про отца: больной, особенно ночами приступы настигают... И — пакостно на душе.

Он наспех оделся. Маргарита крутилась перед зеркалом.

— Я провожу до метро... Знаешь, в соитии есть миг... Нет, не передать! — белая ладонь метнулась к шее, сжала горло — трагически, она полагала.

— Тебе хорошо со мной? — высматривали из зеркала ее глаза. — Застегни платье, — приказала тоном капризницы и качнулась назад, прижалась всей спиной — нельзя не обнять, да посильней, как бы в страсти... Лицо ее обмякло, распустилось из дамского в бесхитростно-бабье.

А потом — те же гримасы зеркалу: вернуть губам утраченный лоск. И — щебет о Третьем Бранденбургском концерте, при первых звуках которого она словно переносится на снежные вершины Гималаев... Он переминался у двери, надеясь: вот-вот нахлынет холодная злая волна, понесет, закрутит... выбросит его отсюда навсегда...

Но лишь в начале зимы собрался он с духом. И все оказалось неожиданно просто.

Университет, отец — врал он в телефон. Никак, ни минуты свободной... ни в этот выходной, ни в следующий... разве что летом, в каникулы...

— Ты что, серьезно? — растерялась она, помолчала миг и заговорила уже с усмешкой. — Что ж, тем лучше. Ты для меня слишком зелен. Пресный... И к тому же я выхожу замуж.

— Поздравляю, — подыграл он.

Возвращаясь в комнату, поймал себя на попытке что-то насвистывать, но не получалось — губы разъезжались в улыбке. И — еще за миг до того сам не подозревая, что скажет это — с порога отцу:

— Хватит! Надоело ваньку валять... Иду работать.

И уперся, и ни в какую... Словно "работать" — решение всех проблем, новая жизнь... Хотя бы уж денежное что-то подыскал, так нет — электриком на сонную мебельную фабрику: сиди в дежурке, читай книжки...

А дома не сиделось. Вдруг стала раздражать вся эта убогость: отцова железная кровать с темно-бурым кусачим одеялом; диван, просиженный-пролежаный до пружин; громоздкий шифоньер, навечно поставленный в угол и, в отместку, застывший треть окна; хлипкий, изъеденный дровоточцем буфетик, пропахший елким маслом; самодельная вешалка на двери...

Угрюмо и беспорядочно кружил по улицам, как кружила мысль вокруг вопросов, на которые — вдруг понял — вообще не могло быть готовых ответов. То есть никак нельзя было эти ответы вычитать, придумать, а должны они были, вызрев, в одночасье словно с неба свалиться, про-

стые и неоспоримые в своей прозрачной очевидности. Слова ли это какие-то должны быть, все про себя и жизнь объясняющие, лицо ли должно было вдруг высветиться в вечернем одиноком окне — чистое и смелое лицо только для него?..

Раз как-то — уже октябрь надвигался — сам не заметил, как очутился в Сокольниках. Солнце, заваливаясь за дальние сосны, выбросило косые лучи, подсветило... В аллеях усиливалось людское коловращение. Он свернул направо, в сторону от шумных аттракционов и пивных ларьков, туда, где парк норовит казаться лесом.

Из-за поворота аллеи торопливо вывернулась тоненькая девичья фигурка — прямо на него...

*НЕСКЛАДУХА РУССКАЯ*

## ТАНЯ

Дальняки стучат мимо без остановок — размеренно, строго. Электричка, та жужжит суетливо, несерьезно. И пассажиры в ней временные, скучные: какой уехал, такой и вернулся к концу дня — чего уж тут... Вот в дальних люди не толпятся потной сплюснутой массой, их почти совсем в окнах не видно — в уютные купе свои с зелеными занавесками и настольными лампами они вселяются надолго... И до этого поезда жизнь их была тоже необычная, если уж случилось в ней длинное путешествие...

Танин дом — крайний в уличном ряду, до поездной насыпи рукой подать. Двускатная изба, что завелась на Руси Бог весть когда да так и не переводится: крытая дранкой крыша, кухонька, горница — одна на все про все, — чердак, подпол, хлев (под одной связью), навес для дров и угля, крохотный палисадник перед двумя окнами, глядящими на пыльную, грязную или убеленную снегом улицу. По весне мать исследует крышу и там, где дранка облысела, появляются кривые нашлепки из черной толи. К первому мая наличники оживляются голубой или зеленой краской — какую удастся вынести с комбината... В хлеву живность: дюжина кур да гуси, шей



семь-восемь. Огород в пять соток: кусты смородины и крыжовника, яблонька впритык к дощатому сортиру, длинные могилки грядок со всяким овощем.

— Проснулась, что ли, бездельница? — крикнула из кухни мать.

Просторная кровать с ржавыми шарами над узорчатой спинкой уже застелена, три подушки — горкой, одна — торчком посередке. Ситцевая занавеска, отделяющая горницу от кухни, наполовину сдвинута — мелькнула рука, и чайник переместился из черного зева печи на газовую плиту, пыхнула конфорка.

— Встаю, — откликнулась Таня и в самом деле поднялась с дивана, наскоро сложила простыню с одеялом, прихватила подушку и сунула все это в ящик комода, по-стародавнему вместительного, пузатого.

— Птица кормлена, а цветам землицы подсыпь да полей! — опять крикнула мать — о фикусе и столетниках на приоконной лавке. — Когда у тебя курсы-то начинаются? Не сегодня?

— Завтра, — скучно отозвалась Таня.

— Ну и правильно. Неча, семь лет отучилась и хорош. Всего не выучишь. А так хоть деньги будут, платьев купишь... Ну, я поскакала — припозднилась.

Скрипнула дверь, Таня подошла к окну — мать бежала через дорогу, по-женски отмахивая пятки в стороны. В соседском огороде размахисто брякнула щеколда, из уборной вышел дядя Серега, приложил ладонь козырьком ко лбу — вслед матери. Все-таки дура я тогда была, подумала Таня, и отступила от окна — сейчас дядя Серега зыркнет на свои окна, потом сюда...

\* \* \*

Отца она помнила смутно — ей и пяти не было, когда его затоптали на похоронах Сталина. Одно время к матери похаживал хромой железнодорожник. Мать ахала: "Это ж надо, совсем непьющий!" И добавляла невпопад: "К тому же бездетный, пенсию получает хорошую". Но что-то у них не сладилось. У дяди Сереги и детей трое, и пьет, как все. Генку, сунув горсть подушечек, спроваживали на печь, а Таня — маленькая, считали — так и спала на диване. Раз вечером выдранный с мясом дверной крюк отлетел к печи, тетя Аня с порога — поленом в мужа и, как кошка, — матери в волосы: "Сучка! Разлучница!.." На улицу хоть не выходи, в школе задразнили... И когда опять появился дядя Серега, она накинула пальтишко и — к двери.

— Ты куда на ночь глядя? — мать ей. — Да и метель...

Дядя Серега кулем сидел на лавке, обвиснув, как ваточный заяц, глаза ласкают бидон с самогонкой.

— К теть-Ане... Чтоб мужа своего забрала...

Мать всплеснула руками и, пока силой сдирала с нее пальто, ущипнула пару раз с вывертом, однако соседа выпроводила навсегда.

...На станции гроыхнуло — вдруг и зло, словно кто-то в сердцах разом опрокинул телегу с утюгами. Через минуту мимо окна пропыхтел паровоз, свирепо пихаясь красными локтями — на платформах песок, блестит под солнцем, как битое стекло.

Над этажеркой зеркало в пятнах старости, Таня хотела удержаться, но все-таки не утерпела, глянула — и скусилась: вчерашний прыщик возле

носа алел еще противней. Руки, как палочки...

...Ну, брат в отца, а я в кого, мучилась она. Мать на карточке прямо красавица, да и сегодня как разойдется — румянец во всю щеку, лицо круглое, веселое и движется ладно... С комбината придет и еще до самых сутевок не устает нагибаться в огороде.

Матери Таня нехороша казалась — тонка костью и рот велик. Ладонь узкая, пальцы тонкие... Мать — с упреком: "Много такими наработаешь", словно она не успевала по дому все что надо.

\* \* \*

С библиотечным Есениным под мышкой она уже свернула на Дзержинскую, как вдруг — Вовка-Студент: враскачку, фасонисто загребая ногами пыль, вид такой, будто он посередке, а все прочее, что есть на земле, — по краям. Таня отступила к забору, и еще на шаг — за вербу...

Чуть не все лето напролет она томилась по этому Вовке с Приречной. Никакой он не студент: в прошлом году держал экзамены в Московский мясо-молочный институт — сдать не сдал, а кличка осталась. Теперь и самой странно: что ей померещилось в нем? Уши торчком, сам, хоть и длинный, но весь снулый какой-то...

Он бы и не заметил ее обмираний, да дружки подсказали: "Эта вон сохнет по тебе". Шло что-то заграничное, из числа дети-до-шестнадцати-недопускаются, но Студенту это нипочем, он бы и первоклашку провел — билетерша ему родная тетка. В темноте он жарко дышал ей в плечо, потом положил на колено руку. Отпрянула, сжа-

лась — он затих, а она целых полкино мучилась мыслью: обиделся?..

Смеркалось. Опять зачастил дождик — сперва мелкий, потом припустил и быстро расшлепал и без того уже волглую землю.

— Володя... — остановилась она среди улицы — глаза блестели, голос вздрагивал.

Он повернул к ней хмурое лицо:

— Ну?

— Я хотела сказать... — Таня потупилась, чуть не плача. — Я вот... Я люблю тебя! — вдруг выпалила словно в беспамятстве.

Он расплылся широкой улыбкой.

— Я тебя тоже, — и крепко притянул к себе за плечи, но она тут же вывернулась и опять стала напротив него. Лицо ее покраснелось, и все оно выражало торжественность и замирающий испуг. Она хотела выговорить: "Поцелуй меня", — но только всхлипнула и вся подалась к нему. Он цепко обхватил ее худенькую спину и по-взрослому впился в губы. Стало нечем дышать, но тут послышались шаги — она отпрянула.

— Я вот, — сказал он, чтобы что-то сказать, — институт кончу, устроюсь, так я на тебе женюсь.

— Я буду ждать, — сказала она спокойно.

Он задрал голову в небо:

— Дождь вот. А то бы в лес можно. У нас ведь вроде как свадьба сегодня, сговор...

— Обручение, — согласилась она.

— Ну да... Надо бы отметить как положено... Да вот дождь... А давай к Кольке, кенту моему... Он тут — рукой подать. Отпразднуем, значит.

Она было сморщила носик, но, взглянув на Студента, кивнула.

Свернув раз и другой, толкнув незапертую калитку, поднялись на кривое крылечко.

— Ты постой тут, — перешел он почему-то на шепот. — А то объяснить надо — праздник, мол, у нас...

Таня одернула юбку, провела рукой по мокрым волосам и спустилась с крыльца в поисках высокой травы — обтереть туфли. Из приотворенного окна до нее дошел грубый голос:

— А че она?

И Вовкин, льстивый:

— Так сама же стедится.

Таня до крови прикусила губу.

— Ну, давай, тащи, — хрипло согласился третий. — Самогон есть вот, станок тоже...

— Только чтоб в наглуую не сильничать, — снова загудел первый. — За лохматый сейф знаешь, что бывает? Да еще малолетка... А так: спаивай ее помалу, мы потом отвалим на момент, а ты рас-супонивай и шпарь. А тут и мы нарисуемся — мол, ай-яй-яй, как нехорошо, а еще комсомолка! Сейчас пойдем маме скажем!.. Ну, а там поглядим, как дело пойдет. Лады?

— Лады! — возбужденно поддакнул Вовка.

Таня слепо метнулась к калитке...

\* \* \*

Книжные стеллажи — как узкий коридор, в конце которого квадрат окна. Распахнутое настежь, оно дышало печным жаром, за чертой подоконника солнце стояло слепящей стеной. Захрустел под каблуками гравий, и девичий мечтательный голос спросил:

— А вот скажите, почему на солнце смотреть больно, а луна приятная?

Минутное молчание, потом — прокуренный мужской голос, ленивый и важный:

— Дистанция...

...Если бы не красные паруса на темно-синей обложке, она бы и внимания не обратила. А. Грин — ничего ей не говорило.

”...с лицом не менее алым, чем ее чудо... она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: ”Я здесь, я здесь! Это я!”

От корабля отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Тогда Циммер взмахнул смычком — и мелодия грянула... полным, торжествующим хором...”

Домой шла, только что не танцуя. На диване, босыми ногами к двери, лежал брат. В растворе ступней — довольное лицо, щекастое, с разляпистым носом. На спинке стула — милицейский китель.

— Здорово, сеструха! Ты, слышал, на комбинат идешь?

— Сперва на курсы, — уточнила Таня и удержалась, не спросила, чего это он среди недели прикатил. Значит, опять вместо мягкого, привычного каждой продавлилкой дивана — печка, где тараканы и духота...

— Платье, гляжу, новое справили.

— Где уж!.. Девке пятнадцатый, а еще магазинного не носила, все в перешитках ходит, — привычно пожаловалась мать, но тут же сменила лицо — умилилась. — Смотри, чего Генка привез.

И в самом деле, на столе — горка бумажных кульков, бидон, верно, с пивом и пара апельсин.

— Да это что? — Генка почесал нога об ногу. — Я вот на прошлой неделе воблы отхватил... А пи-

ва этого хоть ведрами бери, тем более — есть куда ставить.

— Ну?! — радостно догадалась мать. — Купил наконец?

— А как же? Еще в том месяце. Всесоюзной марки "Север", белый весь... Комната, правда, не позволяет, так я его на кухне пристроил. Ну, сперва поворчали соседushки, а после — молчок. Только замечаю: то вроде от колбасины кусок отхвачен, то масло отковырено... Водку-пиво я там, конечно, не держу — не дурак... Ах вы, жлобье!.. Беру на работе цепь — и сикось-накось его, сикось-накось. И замок с секретом приспособил. Сразу визг: "Твой холодильник общественное место занимает!" А чего ж вы молчали, когда замка не было? Они туда, они сюда, икру мечут... В милицию-хуицию, а мне насрать — я сам страж порядка. Ладно, думаю, вы так и я так... Особенно дед Семен разорялся, из угловой комнатухи. Только он "мать-перемать", я — цоп бумагу: за хулиганство и нецензурные проявления в общественном месте — пятнадцать суток! Так теперь как шелковые сделались, падлы...

— Я на улицу, мам, — сказала Таня. Но на улицу не пошла, а села на крыльце, задумалась, сгорбив твердую ребячью спину.

Не верила она в Москву, которую привозил с собой Генка.

\* \* \*

Всех курсов-то — четыре месяца, а отработывать их три года.

На комбинате ей только душ нравился — ходи хоть каждый день. И всегда горячая вода. Главное, не спешить, выждать, пока схлынет народ,

а то не протолкаться и чуть не каждая: дай да дай шампуня. Как будто сами не могут купить — Москва не за горами, чай... Вымывшись, она еще долго сидела в раздевалке, сушила волосы, начесывая длинные, мягкие пряди вперед — после шампуня они пахли чем-то нежным, как весной в лесу.

И здешняя, и всех-то знает — с той в школе училась, та через дом живет, эта и вообще мать-подружка, — а так как-то, ни своя, ни чужая... Хотя вроде бы как все, даже выносила под юбкой куски материи, туго обмотав ими бедра. Что ж тут такого? Все так делают — какая-никакая, а все лишняя рублевка, да и зашпыняют, иди она поперек обычая.

В иную субботу она наезжала в Москву — деньги теперь позволяли. Бродила по улицам до чугунной усталости в ногах, разглядывала прохожих, застревала у больших витрин.

Все у нее гладко катилось: и разряд подняли, и на доску почета повесили, — а подошел к концу трехлетний срок, и, мать не предупредив, взяла расчет, обложилась учебниками, а в июле сдала экзамены в Московский железнодорожный техникум.



## ”ЧУГУНКА”

”Чугунка” — заведение в основном мужское. Еще в экзамены шептались, что на тепловозное отделение больше пяти девчонок не возьмут — по числу свободных коек в женской общаге на Бауманской. И точно, приняли ровно пятерых.

Тане повезло — место ее угловое, у самого окна. Слева вертится с боку на бок Клавка из Подольска — по годам ровесница, а повадки совсем взрослые. Остальные — после восьмилетки. Клавка иначе как соплюхами их не звала, а Тане взялась покровительствовать, усмотрев в ней смиренницу.

— Ты что, в натуре эту скукотищу мурыжишь? — кивала она на учебники. — На паровозике хочешь? Ту-ту-у!.. Да?

Таня отводила глаза.

— Правильно, — одобряла та. — Не наше это дело. Перво-наперво, не женское. Это раз. А потом, глянь ты на этот вшивый техникум — сплошь вахлаки!.. Не-ет, не для того я в этот чугунодорожный поперлась... Да хоть бы и в любой — лишь бы в столице нашей родины городе Москве зацепиться. А значит, не будь чуней колхозной, не зевай.

— Не сдашь зачетов, выпрут — вот тебе и вся Москва, — не соглашалась Таня.

— Фу-ты ну-ты, стра-а-ашно, аж жуть! — подбритые бровки ее взлетали. — Да пока они выпрут, я сама уйду. Чего глазами-то хлопаешь? Куда, мол?.. Муженька надо искать! И срочно! Да не работягу задрипанного, а с портфелем. И тебе советую. Морда у тебя что надо, только... Ты на хлеб налегай. Мужики только прикидываются насчет тощих, а как до дела — подавай им, чтоб полная постель была.

Таня усмехалась. Но задумывалась. Насчет муженька не по любви, а по портфелю — для себя она не соглашалась. Ну, а как укорениться в Москве? Вот кончит техникум, распределят куда-нибудь в Казахстан. И что? Повезет — так лет через десять на дальний устроится: из Москвы три ящика пива, из Тбилиси корзину винограда, сама продашь — полста в кармане, через барыгу — десятка... В синей тужурке этой?.. В шинели?..

\* \* \*

Всей стипендии — двадцать семь рэ, меньше рубля на день. Не разгуляешься. Выручали воскресные наскоки к матери — отъедалась за всю неделю и с собой прихватывала сетку картошки да огурцов-помидоров всяких. Раз вот так тащи-лась, а навстречу по коридору Юрий Андреевич, химик... Зачем-то он в общагу приперся. Может, пришел к какой-нибудь? Все дурехи по нему млеют...

— Вам хорошо, вам из деревни помогают, — пошутил.

Таня ему с обидой:

— Я не деревенская, я из города.

С того дня он ей разонравился. Ну и что ж, что в профиль — вылитый Столяров? Зато от него тухлым пахнет и руки толстые, с кривыми желтыми ногтями...

Раз было заглянула к брату — и зареклась. Лежал он лицом к стене, в стельку пьян, через всю комнату веревка, не пройти — пеленки в лицо суются. Генкина жена словно даже обрадовалась Тане — с такой облегчающей душу страстью набросилась: тебя только не хватало, забирай с потрохами подлеца — всю получку прогулял, свистопляс! — и чтоб духу твоего тут не пахло, без тебя тошно!..

\* \* \*

Вот и весна уже на исходе. Со стороны Таня — москвичка москвичкой, а все чувствовала себя приезжей. Вон она какая, Москва — за день насквозь не одолеешь, семь миллионов, а пойти не к кому. Вся ее Москва — техникум да общага. Сперва-то звали на всякие вечеринки — не хотела, а теперь и рада бы, так не зовут. Особенно после Герки Баранова. У него сорвалось — он и давай трепаться налево-направо: "Танька эта — рыба скучная". Так и пошло... Конечно же его Муму зовут, раз Герасим. А он и рад, немного корчит, мычит... Ходит, правда, ловко, упруго, брюки в обтяжку, а под квадратными ногтями хоть картошку сажай. И все так повернуться норовит, чтобы ей по задку проехать или грудь задеть. Она и раз отвела его руку и два — ему хоть бы хны. Тогда она, едва он подсядет, — за другой стол... Но раз — к Новому году шло — такая что-то тоска навалилась... А он тут как тут.

— В кино не хочешь? "Гений Дзю-до", японская.

**А потом:**

— Холодрыга такая! Давай ко мне, кофейку горячего дернем. Батя у меня шустрый — растворяшкой разжился.

Не так уж и морозило, но под ногами поскрипывало, мелкие снежинки грустно роились вокруг фонарей на яузской набережной, над черным разводьем шевелились лохмы тумана, ледышки плавали, как обломки жира во вчерашнем супе.

В парадном Герка замялся.

— Ты это... подожди минутку, я скажу предкам... И неубрано там...

К соседям их спровадит... А-а... плевать. Часок посижу и уйду.

Она прижалась к батарее, сняла варежки. Отворилась входная дверь — ввалился усатый дядька, румяный с улицы, потопал валенками, отрясая снег, и прошел мимо Тани боком, ощупывая ее с ног до головы блудливыми глазами. Так и поднимался, не отрывая от нее глаз, уже скрылся, как вдруг, словно Петрушка из-за ширмы, навалился грудью на перила, свесил голову и пропел веселым басом:

Одним словом, тяжело,  
Не особенно легко,  
Между прочим — ничего.

Сощурил голубой глаз и пояснил, уже серьезно:

— Солдатская походная песня. Незабвенных царских времен. Классический пример литоты.

Таня догадалась: тронуть!

Наверху клацнул замок, защелкали по ступеням каблуки — похоже, Геркины. Но ей внезапно

вспомнилось, как вот так же Вовку-Студента ждала... Рванула дверь и выскользнула в темноту.

...А Клавка все-таки подцепила ухажера — какой-то там хозяйственник, значит, денежный. Вдовый-то вдовый, но далеко за сорок и сын уже школу кончает. Мужчина из себя видный, соглашалась Таня, а самой смешно делалось: такой он весь маленький, кругленький, животик вперед выпячивает, попку — назад, и нос грушей, в красных прожилках, если приглядеться.

К зачетам Клавка даже "шпоры" поленилась сделать — сдувала прямо с учебника, нахально разложив его на коленях. И попалась. Но нет чтобы поплакаться в деканате, — в тот же вечер собрала вещички и укатила на такси. Прощально расцеловав Таню, всхлипнула и наказала непременно заглядывать в гости, однако адреса не оставила. Таня обиделась, но и вздохнула с облегчением.

\* \* \*

Первый год завершился одиночеством, а второй начался бедой — украли пальто. Сама, ясное дело, виновата — оставила в общеаге, лень было к матери сvezти. И все сто двадцать, заработанные за лето, ушли на пальто — подержанное, конечно, но вполне приличное, с цигейковым воротником.

Железнодорожную премудрость одолевала она через силу. В общежитии дышалось с каждым днем труднее. Девчонки, год назад еще малявки, подросли, пообтерлись и пустились во все тяжкие. И добро бы на стороне, так нет — тащат парней в комнату. Вахтерша за рублевку хоть духовой оркестр пропустит.

Таня с головой укутывалась одеялом, чтобы не видеть-не слышать этой убогой любви. Вставала с головной болью, все валялось из рук. И шпильки эти ехидные, ухмылочки, перемигивания... Особенно Верка-Трясогузка. Эта и вовсе взрослых мужиков водит... Зато и ест в будни, как в праздник — колбасу да сыр, а то и шпроты...

Еще не самый вечер — вполне можно успеть и с сопроматом, и с политэкономией. Сегодня без "гостей" — с утра прошел слушок, что к ночи нагрянет рейд, "Комсомольский прожектор": что в тумбочках? почему вместо наволочки рубашка? где электроплитку прячете?..

Подперев ладонями скулы, Таня напрягается не слышать болтовни — перед ней учебник и конспект, на другом углу стола расположилась Зойка с шитьем — новенькая, на Клавкино место подселили. Была Таня самая старшая, а теперь Зойка — она с последнего курса уже. И ничего вроде бы, спокойная, парней не водит, а то, что на стороне погуливает — ее дело... В иголку ниткой целится боком, как курица, высматривающая зерно. Щурится, а насчет очков заикнись — такая обида, прямо до гроба. Красоту блюдет... А всей красоты — грудь. Но действительно грудь — торчмя торчит, хоть книгу клади. Лицо же — татарка татаркой, и мятое, как у старушки в вечных заботах.

— Некоторые корчат из себя неизвестно что, — сообщает Трясогузка, вроде бы просто так, ни к кому. — Угощайтесь, девочки, — приглашает она тех, не Таню.

Два табурета сдвинуты вместе и накрыты полотенцем. Но полотенца все-таки жалко, а потому на нем газета, а уже на газете — чайник, четыре

стакана и коробка печенья. В одной шелковой сорочке Трясогузка сидит на койке, калачиком сложив белые ноги, и Таня уже знает следующую фразу, ждет ее. Так и есть...

— Мохнатку берегут, чтобы не поистерлась... Подумаешь, сокровище!.. Ну и втюришься в какого-нибудь Черта Самогоньча — отдашь задарма, а все равно как кошка с собакой жить будешь. Все так живут... И потом, вот, говорят, любовь... Если любовь, так и с дыркой возьмет, а не возьмет — так и не любовь это вовсе...

Глаза цепкие, как в магазине, когда стерегут, чтобы не обвесили. И рот, готовый заорать. А всего год назад — тихая, лупоглазая, спросишь сколько времени, покраснеет, прежде чем ответить.

И деться некуда. А главное, долг — тридцать семь рублей Трясогузке. Это если полторы стипухи отдать... А жить на какие шиши?

Никогда она в таких ужасных долгах не случалась. А сложилось все так глупо, как только в книжках бывает.

\* \* \*

Если бы не тетя Катя... Хотя, по справедливости, чем она виновата?

Мать, конечно: "Говорила тебе, не связывайся!.." Ну, да мать всегда на тетю Катю кривится, хоть и родная сестра. И то не так, и это... Мужа, мол, засадила. А чего его жалеть? Неделями не просыхал. Из-за него у тети Кати и детей нет — дважды скинула. Лопнуло ее терпение: только отлежалась, а он ее по новой сапогами, ну она — в милицию. Визгу поднялось!.. Только что не харкали в нее на улице: "Мужа в тюрягу упрятала!"

А она еще как зажила после этого: пол-огорода под цветы пустила, кроликов развела. Суббота — она в Александров с двумя корзинами: в одной кроличьи тушки, в другой шкурки. Воскресенье — в Москву с цветами. И обставилась красиво: диван кожаный, стол полированный, круглый, коврики по стенам с лебедями... Это в Москве лебеди — мешанство, а в Иванеевке — самый шик. Вся улица приходила ахать, а потом: "Спекулянтка! Обвешала стены лебедями да блядьми!..."

Ну и прилипла смолой:

— Ты, Танька, теперь москвичка у нас — знаешь, где что. Уважь, разыщи ты мне богатую люстру, с висялками, рубликов бы за сорок. А я тебе пятерочку переплачу за работу да заботу.

И как назло: идет по Бакунинской, а из "Электротоваров" народ люстры выносит. Почему? Сорок семь рэ... Заняла очередь и бегом в общагу — к денежной Трясогузке: дай полста до воскресенья...

Только она через порог, мать — вместо "здоровствуй":

— Петька-то, Катькин идол, вернулся допрежь сроку — переисправился, дескать. Вот и переисправился!.. Так ее вчера излущивал, измесил сапожищами — в полуклинику умчали на "Скорой". А он все мебель ее новесенькие топором порушил, цветы вытоптал, а кроликов тоже искромсал... Уж его снова замели.

Она — в больницу. Тетя Катя, вся забинтованная, охая и кашляя, приподнялась на койке, а увидев люстру, замотала головой, заплакала.

— До того ли мне теперь, доченька? Да и вешать ее негде, красивую, — все побито, поизломано... И деньги-то, ирод, разыскал в схованке —



пока милиция эта расчесалась, он уж все в вокзальном ресторане прогудел с дружками. Там его и взяли... А люстру, доченька, снеси обратно в люстровый магазин: возьмите, мол, ради всех святых, назад — нам, мол, не подходит. И возьму-ут! А как же?

И конечно, взяли бы, только беда не приходит одна. Нет бы до вечера переждать, когда в электричке посвободней. Так куда там, точно жгло ее — скорей в магазин, разделаться!..

А в Загорске как ввалила толпа с обеих сторон, прут словно угорелые... Закрутило, прижало и — хрустнуло, посыпалось... Пришлось назад, к матери — та в ругань да в слезы. Десятку, правда, дала — не самую последнюю, но и на том спасибо. Трясогузка остервенела, аж глаза стеклянные сделались, по комнате бегают, задницей трясет:

— Как братъ, так "Верочка-дорогуша", а отдавать ее нету! Где ты его нашла — червонец? На паперти, что ли, выпросила? Рванный вон, измызганный!..

А что скажешь?

\* \* \*

— ...лодочки и юбка плиссированная. Откуда, думаешь?

— Неужто? — ахнула Людка, будто ее кто ущипнул — вдруг, но нежно. Золотушное личико ее светилось восторгом. — Надо же!.. А такая строгая с виду.

— С виду, — криво усмехнулась Трясогузка. — То-то и оно, что с виду... А Тонька с третьего курса, электровозница?

— Какая? Здоровая такая, с бородавкой? —

лениво спросила Галя. Она уже управилась с чаем и теперь, развалившись на койке, трудилась пилочкой над ногтями. Полы рыжего халатика распахнулись чуть не до пупка, оголив не по годам рыхлые ляжки в голубых разводах вен.

— Да нет. Ну, Тонька же, такая еще... на шпильках и вся из себя, — Трясогузка скорчила кислую мину.

— А-а, помню, — обрадовалась Галя. — Она в бюро комсомола. В том году меня таскали за прогул. Остальные ничего — лишь бы-лишь бы, а эта пристала, как вошь к шубе: почему да как?

— Ну да, она и есть.

— Гадина, — добавила Галя, подумав и как следует припомнив. — И что она?

— А вон Зойку спроси.

Зойка снисходительно улыбнулась:

— Да чего там, — выговорила, как всегда, с ленцой, словно одолжение делала. — Ну... видела я ее в Сокольниках.

— Мало ли? — замирающим голосом усомнилась Людка.

Но Зойка ее успокоила:

— Что же я не вижу, что ли? Слава Богу, в Сокольники не первый год хожу.

— А я так не могу, — с осуждением сказала Трясогузка. — Это вроде уличной выходит. Во-первых, грязно на земле. Да хоть бы и на скамейке... А потом, он же обмануть может — попользуется и деру.

Зойка усмехнулась с превосходством:

— Зато не застукуют. А в общаге лежи-дрожи — то рейд, то комендант... А насчет деру — так я деньги сперва беру, а не потом. Двадчаточку с вас, говорю...

— Ну уж — двадцатку? — не поверила Людка.

— Не всегда, — спокойно согласилась Зойка. — Какой человек. Это смотреть надо. А пару раз даже и тридцатку содрала.

Таня, все так же склоненная над учебником, давно уже ничего не видела. Так они запросто болтают... Не-ет, я уж никому не скажу. Ни за что... И спохватилась в испуге: разве она уже решилась?.. Она ведь это просто так думает, а не совсем еще решила... Может, еще обойдется, и как-нибудь выкрутится, уговаривала она себя и знала, что выкрутиться никак не удастся, ну никак!

— ...А мне тоже сон был — три зуба выпали, — пожаловалась Галя.

Трясогузка потянулась, зевнула с подвывом:

— С кровью или без?

— С кровью.

— Если без — знакомый умрет, а с кровью — родной.

— У меня и родных-то столько нет — мама да дедушка.

\* \* \*

Даже пяточка на метро не нашлось, но сколько там до Сокольников — час ходу, если даже не спешить. Она так рассчитала, чтобы прийти еще засветло, пока в парк бесплатно пускают.

Про себя положила: если кто предложит двадцатку, то она и согласится. Не меньше. Как именно должны предложить, она не представляла себе, даже не думала об этом, как и о том, что будет после, а только беспокоилась, как бы не подцепить какую-нибудь заразу и нельзя ли не обидно как-то повыспросить "его", не болен ли,

и, если скажет, что нет, угадать, не врет ли...

На вязком берегу похожего на большую лужу пруда — мольберт на журавлиных ногах. Загорелый, цвета бурой замши, художник в чудном беретике топтался с кистью в руке — мазнет и отступит мелким шажком... Несло тухлым — в маслянистой воде сонно кольхались огрызки яблок, арбузные корки, зеленый батон... А на холсте: нежнейшей голубизны овал, ватная тучка, преломившись в глади вод, обернулась как бы серой уткой, и с тихого клена, позолоченного закатным солнцем, беззвучно падает багряный лист, падает и падает — навстречу своему отражению... Художник повернул к ней толстоносое лицо — она шарахнулась. Что-то было в его глазах... как будто он знал, зачем она здесь.

— Ну и что, ну и хорошо, что видно, — сказала она вслух, бодрясь. Но колени подламывались от страха.

Как слепая, бродила по малолюдным аллеям, присаживалась на скамейки, снова подымалась и деревянно шла куда-то, рассуждая сама с собой, уговаривая себя, что это нужно, это ничего — все так делают, и никто не узнает, что это первый и последний раз, и впредь она уж так будет экономна, так экономна...

Время от времени, очнувшись, растерянно озиралась: где же "он"? Может, для "этого" специальное место есть?.. Вряд ли. Она понимала, что надо втянуться в людской круговорот, потолкаться там, где качели-карусели, рестораны в волнах духовой музыки и мясных запахов — только там мужчины при деньгах, а здесь одно пацанье да пьяная рвань.

Собравшись с духом, совсем было подступилась к залитому серым асфальтом плацу с фонта-

ном посредине, но горло аллеи закупорила кучка шпанистых парней, и, свернув, шурша сухой травой, она пошла вдоль кустов жимолости. Гуляли в основном парами, но были и с детишками. Она поймала себя на том, что не мужчин разглядывает, а — женщин: платья с рукавами, в бедрах широко, книзу узко, тугие жакетки, свитера в шашечку, узорчатые... Девчонка с бордовой шерстяной розой на пухлой груди с пирожным в руке... Таня вдруг почувствовала, что трясется от холода — капроновая кофточка с рюшками и длинными рукавами не охраняла от зябкой свежести сентябрьского вечера.

Оркестр оборвал "Амурские волны", и тут же захрипел, защелкал микрофон, сказал: "раз, два, три", донеслось радостное рокотание конферансье, опять хрипение и наконец, подражая Тамаре Миансаровой, завелась певица: "Ландыши! Лан-дыши! Све-ежий букет!.."

От этих "ландышей", затоптанных радио, общагой, электричками, как будто полегчало, она ступила вперед, но невидимую черту между нею и уже освещенным фонарями асфальтом все равно перейти не смогла. Пошла по краю, прячась в тени еще густых, но уже по-осеннему отчужденных деревьев, и каждую минуту давала себе слово, что вот дойдет до той липы, нет, до той скамейки — и свернет туда, где свет. Но не свернула, а, напротив, огибая копну опавшей листвы, еще дальше отступила в промозглый сумрак, наткнулась на неожиданный пенек и снова выбралась на боковую аллею, почти без фонарей, тихую, как на кладбище. И тут за ней кто-то увязался — она боялась даже обернуться, слышала лишь пьяное мычание за спиной и спотыкливые шаги, а когда почувствовала тяжелую руку на плече, кинулась

бежать и забежала в полное безлюдье. Еще не отдышалась как следует, когда воровато заскрипел гравий и на скамейку рядом с ней — слева и справа — сели двое: мозгляк под тридцать, вертлявый, с опасливой оглядочкой по сторонам, другой же — сущий школьник с неразвитым вздорным лицом в россыпях раздавленных прыщей, но громоздкий, набитый мышцами, выпиравшими из кургузого пиджака. Посидели миг, переглянулись, вертлявый что-то хмыкнул, поднес к зубам палец и откусил то ли ноготь, то ли заусеницу. Таня, стараясь казаться спокойной, поднялась, и тут, не говоря ни слова, они ухватили ее под руки и потащили к кустам. Она повисла, чертя ногами землю, и пронзительно завизжала. Вертлявый испугался, отпрыгнул в сторону, но второй, продавив ей плечо до самой, казалось, кости, не отпускал. Она извернулась — достать его ногтями, зубами — и... оказалась на земле. Только тут услышала милицейскую трель.

— Чего они тебя — успели или как? — милиционер помог ей подняться с земли. — И чего шатаешься где людей нет? А ну, покажь документы.

Таня полезла было в сумочку, но он, дернув ее за руку, развернул к себе спиной и обхватил сзади, больно сжав ладонями груди, ерзая пахом по ее ягодицам. Она обвисла, вертанулась и выскользнула.

— Ишь, блядь! — разочарованно, однако и незлобиво, выговорил тот. — А ну, вали отсюда, чтобы... И не попадайся.

Темнело все стремительней. Скорей туда, где не так страшно — где свет и люди!

## ПРОВОДА ПОД ТОКОМ

Дмитрий свернул направо, в сторону от шумных аттракционов и пивных ларьков, туда, где парк норовит казаться лесом.

Из-за поворота аллеи торопливо вывернулась тоненькая девичья фигурка — прямо на него...

Нервность движений и вся хрупкая стать... Ну конечно же, Лия Вейн!

— Девушка, — шагнул он навстречу, разыгрывая галантного незнакомца, — разрешите пригласить...

И уже понимая, что обознался, услышал испуганный и вместе с тем решительный голосок:

— Да. Я согласна... Только...

Он смутился:

— Простите... Я обознался.

— А... — не то разочарованно, не то с облегчением выдохнула она и вдруг отчаянно зарыдала, закрыв лицо руками и трясаясь всем телом.

— Что такое? Обокрали?.. Вот на скамейку, — осторожно тянул он ее за локоть. — Ну, что ты, что ты?.. Успокойся. Что с тобой?..

(Позже он как-то спросил, что значили ее слезы и те слова: "Да. Я согласна... Только...")

Ну, как тут объяснишь?.. Такое родной матери

открой — и всплакнет, и пожалеет, а все равно за-  
таит: придет минута — твою правду тебе же в  
морду, да побольней... И она выдумала про  
Герку-Муму, как он канючил, чтобы в Соколь-  
ники прошвырнуться, а там пристал с рестора-  
ном. Она бы и рада, но — с Геркой?.. Не-е-т!  
"Муму этот, поддавши, наглеет... целоваться и  
все такое лезет". Ну и сбежала, где потемней —  
а там шпана, да и милиционер тот еще попался...  
Она назад, к Герке — какой-никакой, а защитит.  
И вдруг — Дмитрий, в таком же костюме и ро-  
стом похож...

К тому времени Дмитрий был от нее без ума, и  
это совпадение обозначений... Есть тут что-то не  
случайное... Он пробовал выдать ироническую  
усмешку: ка-а-ак же — предназначенность, и про-  
чее эдакое... все, как у людей. Но усмешка не  
удавалась: как-то так выходило, что без слова  
"предназначенность" не обойтись — слишком уж  
все совпало. И то, что они так подходят друг  
другу, и это отчаяние пустоты, никчемности,  
одиночества, приведшее их в Сокольники, и —  
разом! — обретение всех смыслов — то жить не  
хотелось, а теперь вечера не дождешься...)

...Они уже вышли к чертову колесу, под фона-  
ри и разноцветье ламповых гирлянд — только  
тут Дмитрий разглядел ее лицо, худенькое и  
бледное до голуbizны.

— А вот и шашлычная, очень даже вкусная.  
Вы не против? А то я голоден, как крокодил.

— Я тоже. Только... — смутилась она.

— Наскробем... Как вас звать-величать?

— В железнодорожном техникуме, — невпопад  
ответила она: остро пахло мясом и жареным лу-  
ком, над столиками витал тихий гул сытых голо-



сов — и ни одного, ну ни одного свободного места...

Но тут в углу рядом с раздаточной зашевелились, поднялись...

— Два лагмана, два шашлыка, — заказал наизусть Дмитрий.

Каждый день он тут обедает, что ли, подумала Таня. И ошиблась — Дмитрий тут всего раз был, но запомнил: в меню, кроме пива с водкой, знались только суп-лагман да шашлык.

Пышнотелый улыбчивый узбек принес плоские белые лепешки, такие большие, что края их далеко свешивались с тарелки. Таня сразу к ним потянулась и не могла остановиться, пока не появился дымящийся лагман. Мысленно поделив его на первое и второе, сперва съела навар, а потом — макаронины с мясом.

— Ну, про техникум я усвоил, а звать вас как? Меня — Дмитрий.

— Ой, я так и думала: Андрей или Дмитрий! Меня — Таня.

Появился шашлык.

— А я шашлык первый раз ем, — и взглянула: не будет ли смеяться?

Она порозовела... нежные тени под глазами... бисеринки пота на лбу... ниспадающая на спину каштановая гривка растрепалась, распушилась... плечи и предгрудье с едва намеченной, убегаящей вниз ложбинкой юно просвечивают сквозь капрон кофточки... Вскинула глаза — Дмитрий отвел свои. Ему вдруг сделалось тихо, словно в ушах вода после нырка. Тихо и покойно. Только вызывало — чуть-чуть, в далеком далеке — радостное недоумение: где я ее видел?.. Он закрыл глаза — влажная тень догадки уже наплывала, вот-вот... Но тут:

— А вы один? — спросила Таня.

— Один. То есть как? Ну да... В каком, впрочем, смысле? — запутался он.

— Жена! Дети! — рассмеялась Таня.

— С отцом живу.

За соседним — впритык — столом расположились пятеро: парень в развязную обнимку с девицей, похоже, покупной, и семейство — муж с женой и белоголовым ребятенком лет пяти. Оба громоздкие, скроенные коряво, но крепко. Собакевичи, мелькнуло у Дмитрия. Хотя Собакевич, наверное, партийным боссом пристроился, а эти... Он на шоферюгу смахивает, о она — какая-нибудь там учетчица на той же автобазе.

— Ты мне говоришь! — учетчица со свистом втянула макаронину. — Я когда кассиршей в клубе была, так у меня цыган пол мыл, так у него немцы брата убили, потому что низшая раса — помесь армян с евреями. Что же ты, говорю, в углах-то не достаешь? Пыль ведь, ты доставай! Так он же на меня еще глазом сверкает, старый уже. Жалко, говорю, Гитлер вас недорезал. А ты говоришь.

Муж только хмыкнул, занятый пацаненком: скармливал ему мелко нарезанный шашлык — тот сонно клонился со стула, но рот открывал послушно, широко, как галчонок.

— Ну? — наседала она.

— При чем здесь помесь или что? — процедил он нехотя и зыркнул из-под кустистых бровей — с издевкой: что, дескать, с дуры взять? — Работать не хотят, вот их и резали. Это как навроде с неграми этими — кричат на всю Ивановскую: притесняют, потому что черные. А они пахать не хотят — только выпить, с бабами да насчет в картишки перекинуться... А у Гитлера, что ни гово-

ри, порядок водился, сам видел: не работаешь — палкой по жопе, украл — на виселицу, — он громко рыгнул и полез пальцем в рот.

Парень, допив водку, снова облапил девицу за плечи и приклонил к себе, другой рукой, под столом, елозя по ее коленям, задирая юбку. Она, нет, чтобы отклониться, зажаться — расставилась. Черный чулок на одной ноге перекрутился винтом. Дмитрий покосился на Таню — кажется, с ее места не видно этой руки на коленях, меж колен... Привел девчонку в шалман, подумал он с беспокойством...

— Хорошо здесь, — Таня отодвинула тарелку. Ей хотелось сказать, как она благодарна Дмитрию, как тепло и покойно ей стало, как красиво здесь... Вон влюбленные за соседним столом, а эти, сразу видно, простые работяги, и, однако, все у них дружно, чинно: он мальчонку кормит с вилки, с женой не про что попало, а про политику... Она счастливо вздохнула.

Кассирша доедала лагман, истово подбирая остатки куском лаваша, доела, облизнула ложку и громко одобрила:

— Хорошие щи здесь дают... даром, что чучмеки.

\* \* \*

Общежитие уже спало, только стеклянная дверь светилась неярким зеленым светом.

— Значит, договорились: суббота, в шесть, "Бауманское", первый угол справа, — уточнил Дмитрий. — И еще: давайте, Таня, на ты.

Она радостно кивнула, хотела еще что-то сказать, как вдруг схватилась за голову:

— Ой, мне ж туда хоть и не возвращайся!

— А что такое?

Она молчала. Выглядывала из темных окон, клубилась за углом глухая тоска, и ветерок из туннельного провала меж домами дышал ее затхлым холодом.

— Ну? — Дмитрий скользнул ладонью по ее плечу, сжал локоть, подбодряя.

— Такая беда-а! — стоном вырвалось из нее, а глаза не отрывались от его лица, высматривая, спрашивая: я все еще одна или нас уже двое?

Зажглось угловое окно, и полоса света упала на Дмитрия — совсем близко его внимательное лицо, глаза, серьезные и теплые... Дурное лезло в голову: про "гомосека" спросить — не заржет, как Зойка с Трясогузкой?.. Зойка нагнулась, а комендант — шлеп пятерней. Старик почти... Зойка — ему: "У-у, гомосек!" Что-то вроде суки, верно...

— Ну? — Дмитрий снова сжал ее локоть.

И — прорвало, как с горы, когда уже нет удержу.

.....  
— Все? — спросил он. — Или еще что-нибудь?

Ей почудилась насмешка в его голосе, и вправду — глаза его смеялись.

— Да, беды твои поистине ужасны. Люстра, Трясогузка — чистый Змей Горыныч в юбке... Хоть в петлю... А знаешь, какова цена всем твоим бедам? Ровно тридцать семь рублей, тридцать семь и ни копейкой больше. Понимаешь? — он больно сжал ее локоть. — Всего тридцать семь каких-то жалких рублей, а у тебя прямо слезы в горле булькают. Не стыдно?

И ей вдруг стало легко. В самом деле: ну, не ерунда ли? Особенно теперь, с Дмитрием... И она чуть качнулась, прижалась к нему плечом.

— Вот что, — он достал бумажник: всего шесть рублей с копейками, — раз такое дело, давай не в субботу встретимся, а в среду, у меня в среду поллучка... Потерпит твоя Трясогузка... Так. Пятачок я себе на метро, а это тебе.

Она взяла без колебаний и, прежде чем скрыться в дверях, коснулась губами его щеки.

В метро он совестился окон: прыгающая улыбка гуляла по лицу, как у какого-нибудь блаженного идиотца.

\* \* \*

Расставались поздно, а едва проснувшись, уже начинали ждать вечера. Но — осень: сперва все слякотней, потом все холодней... Единственная крыша над головой, единственный сумрак, который им выдан, — кино, почти все равно какое, почти все равно о чем.

Едва в зале истаивал свет, ее рука затихала в его ладони, как юркий зверек — в норе. У пальцев характер был нервный, недоверчивый, особенно мизинец все норовил согнуться, спрятаться. А между ладонью и краем грубошерстного рукава, под тонкой кожей запястья отчаянно билась горячая жилка...

Таня не спешила уступать: и по робости, и — еще больше — по угадке, что эту робость Дмитрий в ней любит.

К зиме грянул фестиваль латиноамериканского кино: насквозь гнусные злодеи преследовали сплошь благородных героев или наоборот... Не-

годяй и рыцарь оспаривали пылкую красотку, она переходила из рук в руки, оставаясь при этом невинной. Бренчали гитары, щелкали кастаньеты, а в перерывах между стрельбой и поцелуями обострялась классовая борьба.

Дмитрий смотрел в полглаза. Таня была увлечена. Но недолго.

— Это все придуманное. Давай поищем что-нибудь про жизнь.

...В афише опять не было ничего заведомо интересного. Разве что "Мост Ватерлоо". Про Наполеона, решил Дмитрий. Ну, что ж...

У "Повторного" зябла очередь, но едва Дмитрий пристроился в конце, она уньло распалась... Он уже повернулся уходить, если бы не чумазый парень в растоптанных валенках:

— Ну че? Бери пару по двушнику. Сам глядел бы, да денег надо.

— По дву-у-шнику?

— А то!..

Его качнуло, занесло — пробежавший мимо франтоватый старик дернулся, чуть не упав, зло закричал синими от холода губами:

— У-у, гнида, налил бэльма! Говнодавы-то свои смотри куда ставишь! — и, наклонившись, перчаткой смахнул с черной кожи ботинка бурое месиво — след пьяного валенка.

— Давай, что ли, — протянул Дмитрий четыре рубля.

— А где это Ватерлоо? — придвинулась к нему Таня.

— В Бельгии вроде.

Однако Наполеон оказался ни при чем.

Прекрасный юноша из благородной английской (еще романтичней — шотландской) семьи,

бедная, но тоже прекрасная девушка... Затемненные улицы Лондона... лучи прожектора тревожно обшаривают небо... налет... котелки, зонтики, шляпки... omnibusы, коляски, авто... Он в хаки... вокзал... слезы. Газета: в списках убитых — он!..

Майра обречена: без работы (выгнали), без близких (сирота), без денег... Все мрачно: туманные улицы, холодная комната, лестничная площадка... Безысходность гонит Майру на улицу. Мост Ватерлоо, ночь и туман. Первый клиент целомудренно бесплотен — мужской голос за кадром... Но — радость и ужас — Он жив, возвращается, любит по-прежнему. Только она уже недостойна его: мост Ватерлоо, ночь и туман, ее прекрасное лицо... лязг и грохот — колонна громоздких уродин... машины все ближе... ее прекрасное лицо... свет фар... тень — свет... тень — свет... смертельный скрежет тормозов...

Да, это была мелодрама. Но... соблюдена некая мера, таинственное чуть-чуть, которое переступи — и "черная роза в бокале золотого, как небо, ай" — уже не Блок, а пошлость. Талант, обаяние — вот ключ... Не сюжет, не обстоятельства, а — искра в тебе. И еще вот это, чисто английское — особая позиция перед лицом жизни, даже в самом ее трагическом выверте: отстоять форму, уберечь себя от распада, погибнуть, но не растечься в слезах, в соплях, жалобах...

Таня сердилась сперва. Эта его — вдруг — отрешенность. Что-то иное он видел на экране, но — что?.. Ну, красиво, конечно: балет, клуб "Горящие свечи", Рой — высокий, с усиками... нет, Дмитрию они не пойдут... Майра эта красиво переживает... Ага, у нее ж, у красотки этой, — ни гроша. И некому помочь, только подруга. Вот она объясняет Майре, что к чему — и сразу у вис-

ков, в углах рта что-то жесткое... как у Трясогузки. Незачем, мол, мохнатку беречь, подумаешь — сокровище!.. И деться некуда, только в Сокольники или как там у них называется... Под машину?! Нет, ни за что!.. Это уж нет! Пропадите вы все пропадом!..

Ее трясло, слезы катились по щекам... Впрочем, не у нее только. Толпа непривычно тихо продвигалась к выходу. Зареванная девчушка шепотом втолковывала подружке, тоже зареванной:

— Это первая серия, а есть еще вторая — у нас запретили. Так там ее не до смерти переехало, только сотрясение мозга...

Таня подняла на Дмитрия просящие глаза: правда, как думаешь?

— Ну, что ты, Таня? Слишком безвкусно.

— При чем тут безвкусно? Виновата эта Майра, что ли?

— Опомнись, это же кино!

Лениво падал рыхлый снег, вокруг фонарей сгущались белесые шары тумана, предвещая гнилую оттепель — простудную, никчемную... Снова надвигалась на них Москва. Шли молча, неизвестно куда. И опять болело и ныло, что нужно разойтись по своим углам...

Вдруг Таня, словно бесповоротно на что-то решившись, остановилась:

— Митя, я вот хочу спросить... Только по правде. Если бы со мной такое, как с Майрой, ты бы не разлюбил?

— С тобой? — как ударило его. — С какой стати с тобой?.. Слишком ты впечатлительная... Нельзя же так буквально.

— Я знаю, что нельзя, а все-таки... Представь, — с непонятной горячностью умоляла Таня.

Но — не представлялось. Таню?.. Нет!.. И не в



прощении тут дело, а в этом холодном ужасе, содрогании, как перед лицом смерти. Смерть разве можно простить?..

— Ну что ты, Таня, конечно, не разлюбил бы. Не за это любят, не из-за этого расстаются, — сказал он, ясно глядя ей в глаза.

\* \* \*

Вдруг на них накатило — лыжи. По выходным, конечно. В Измайловский парк приезжали к обеде, чтобы не так людно на прокатной станции. А после лыж чуть не до полуночи бродили по лесу. Громыхала музыка, звенело железом, ворочалось скоморошье тело катка — все глуше, глуше... Вот и последний фонарь — в конус света под жестяным колпаком сонно всплывают лохматые хлопья и, вильнув, исчезают. Дальше — только луна, ее белесый, стылый свет на бугорчатой дорожке. С каждым шагом еловые лапы нависают все защитней, смыкаются почти крышей... Все как бы насыщено особым смыслом, точно во сне, когда видишь дерево, но очень знаешь: это не дерево, а человек — сейчас выкрикнет самое главное.

От тишины они теряли дар речи, замыкались в молчании, таком значительном — вот-вот случится что-то важное, если ступать по скрипучему снегу легко и дышать нешумно... Таня не выдерживала, и тогда всякий шорох в кустах, морозный скрип далеких шагов — испуг и повод, чтобы прильнуть к Дмитрию.

... — Ты совсем заледенела. Иди сюда, — Дмитрий распахнул куртку, обхватил, укрыл чуть не с головой.

Пушистый помпон ее шапочки шерстил ему

губы, сквозь пальто твердела, как будто тоже промерзшая, грудь. Его бросило в жар, и, уронив рукавицы в снег, он опустился на колени. Таня расстегнула пальто, обняла Дмитрия за шею. Мокрые ломти снега обламывались с его шапки, падали на шерстяные шашечки ее свитера.

— "Мы — провода под током...", — сказал он, задыхаясь.

Таня вся подалась к нему, но вдруг — опала, отстранилась.

— Что? — испугался он, взглянув на ее вдруг далекое лицо.

— Идут...

Черная фигура дремотно пересекала поляну, бороздя снег подводной, вращаясь походкой...

— Черт!.. — прыгающим голосом сказал Дмитрий.

— Я не могу так, — губы ее дергались.

Он целовал холодное от снега лицо, мокрые ресницы.

— Я не могу так, — уже откровенно плакала она. — Ну, неужели нельзя где-нибудь... как-нибудь? Ведь есть же... устраиваются же люди...

Внезапно повалил снег, ударил колючий ветер, лес зашевелил несметными тысячами ветвей в толстых снежных рукавицах. Еловые лапы над дорожкой закачались — разомкнулась крыша, и проступило серое небо.

## СОГЛЯДАТАЙ (I):

*женский городок, кислый запах, кукиш*

Отец намекал, чтобы привел Таню, но Дмитрий оттягивал, заранее ежась — как ей будет неловко, стесненно, как не о чем будет говорить. Да еще эта убогость... Вон обои под окном пошли пузырями...

А вот с Сипягой пришлось познакомиться — в метро столкнулись. Так и прилип к Тане, вмиг вытянув, откуда она, что и как.

— А, Иванеевка!.. Ну, как же. Бывал. У меня работа такая — мотаюсь где ни попадя. Бывал, как не бывать, и еще придется не раз, — весело частил он. — А ты, старик, чего ж? Подзабыл-подзабросил нас с бабкой.. Обижается. Я ей с потолка: некогда ему — влюбился. И вижу, не соврал. Да ты не нарочно ли втюрился, чтобы автора не подводить?

Дмитрий поежился — обрыдли эти хохмочки. А уж Таню и вовсе б не трогал. И Сипягин уловил.

— Ого! — подмигнул примирительно. — Молчу, молчу как рыба об лед. Не смею мешать счастью. Однако — в качестве сердцеведа — позволю себе заметить... Надеюсь, — он повернулся к Тане, — Дмитрий поведал вам, что я в некотором роде писатель и, следовательно, знаток человеческих

душ? Так вот, позволю себе заметить, что, если старина Дмитрий влюбился, это серьезно... Как в древнегреческой трагедии, с хорами этими, знаете, и всяким там роком, — и отклонялся галантно.

Таня с обидой спросила:

— Чего это он? Кланяется... Как шут гороховый.

— Не обращай внимания. Он со всеми так.

\* \* \*

— Это еще приличная деревенька, — снова не выдержал Сипягин. — Под Калинином?.. Даже странно. Нищая область, суглинок... И тот испоганили. Детсад, говоришь, есть? Что ж, и так бывает. А я таких понавидался... С керосином сидят... Ну, читай, читай, — оборвал он себя и, в последний раз хлюпнув трубкой, выбил ее о подоконник.

— Теперь еще бороденку отрасти, — оторвался Дмитрий. — Полный набор... И Хэма на грудь повесь.

— У меня грудь неровная — помнется... Не говоря, что Хуемгуэй — старье. Теперь Набоков с Бердяевым на стенках.

Последний листок лег на кушетку.

— Ну как, похоже? — Сипягин смешно сморщил нос.

— Иванеевка?.. Вполне. Только... — Дмитрий твердо посмотрел Сипягину в глаза. — Только Таню ты не трогай.

Сипягин оторопел, вдруг ему понадобился пузырек с клеем, тот не давался, накренился, Сипягин хотел его удержать, но тут-то и смахнул

с подоконника, однако удачно — на книги у стены.

— Понял? — не отводил глаз Дмитрий. Он встал и протянул Сипягину стопку листов.

*По Союзу таких Иванеевок видимо-невидимо. С той, правда, — и весьма существенной — разницей, что наша Иванеевка не у черта на куличках, а всего в сотне километров от столицы советской родины. Два часа на электричке — и тебя уже мнет и крутит в сладостной толчее очередей. Поздние электрички разбегаются со всех семи московских вокзалов, набитые пригородным людом с авоськами, мешками, кошелками, в которых столичная снедь и обновки. Особенно после внедрения пятидневки подсподручнело, хотя бабы сперва и чертыхались.*

— Чтой-то у тебя, Степановна, громыхало так? Опять, что ли, твой куражился? — вроде как посочувствует соседка.

— Ой, и не спрашивай!.. С этой их пятидневкой, мать ее за ногу! Раньше-то, ну, накушался в воскресенье, и все... А теперь два дня гудит. По закону-де имею полное право отдыхать!..

— Ну, они и в будни-то не шибко просыхают.

— Все ж не так. А тут вроде как по закону положено...

— Так зато вот в Москву другой раз выберешься. Я вон в субботу эту кабы не наладилась, так сапожки-то резиновые и не отхватила бы. Покель доедешь, да до магазина доспеешь трамваем-то ихним, — уж и хвост с коломенску версту. А так на вокзале перемоглась, да утречком и там уже — девятая в очереди... Вот и с обновкой. А уж теплые какие, да обхватистые!.. И мукой разжилась.

В магазинах только винно-водочный отдел жи-

вет бойко, прочие — так-сяк, а чаще и вовсе никак. Разве что рыбешка в кои веки объявится, а мяса-колбас и в заводе не было, хотя накануне революционных праздников непременно проносился слух, что завезут колбасу, муку или дешевую селедку...

Генка, Танин брат, тогда грузчиком работал на прядильно-ткацком. Однажды, сколотив рубль двадцать на "бормотуху", он поспешал к проходной. Дело было обеденное, солнышко поигрывало...

— Ты куда, Враль? — бабы ему с подсмешкой из очереди перед столовой. — Опять за бутылкой? Он им, не сбавляя ходу:

— Брысь, мокрощелки! Не до вас тут — колбасу выбросили!

Бабы замерли.

— По сколь дают? — пискнула одна.

— По килу.

Цеховой двор забурлил и обезлюдел вмиг... Поверили, потому как хоть и Враль, но чтобы насчет колбасы загнуть — это уж чересчур! Как в колодец плюнуть...

После того запрезирали Генку всерьез и со злобой даже. Пришлось уволиться. Впрочем, это ему на пользу обернулось — в Москве милиционером пристроился и осел там навсегда.

\* \* \*

Народу в Иванеевке что-то тысяч двадцать, и народ в основном женский, поскольку вся иванеевская промышленность — "Прядильно-ткацкий комбинат имени Ф. Э. Дзержинского".

Что ни лето разбитные вербовщики пригоняют стайки девчушек из каких-то совсем уж замше-

лых городков. Больше всего соблазном берут, что вот, дескать, Москва под боком... Ну и клюют простехи, мечтая как-нибудь в эту киношную Москву проскользнуть. Да не так-то оно легко на поверку оказывается: за науку — вот за то, чтобы на ткачиху или там прядильщицу выучиться — три года потом оттрубить надо, считая дни, что твой арестант до свободы, а там, глядишь, девчонка обвыкает помалу да в разум входит. Бывает, что и бегут, не отработав срока. Если домой, так их местная милиция заворачивает, а в Москву, так через недельку-другую сами возвращаются, размазывая слезы по грязным щекам.

Главная иванеевская диковинка — "Спальни": приземистое строение из бурого кирпича, замечательно длинное и без единой кривинки — памятник пламенным двадцатым, когда партком заведовал всеобщим смыслом жизни. Замышлялись пять этажей, куда вселился бы весь иванеевский класс трудящихся для прохождения счастливой жизни сообща, но пришлось ограничиться одним этажом, поскольку сперва выявился вредительский неурожай кирпича, а потом и самого прораба уличили в шпионстве в пользу белопанской Польши, а также Японии, якобы страны восходящего солнца. Комнатки в "Спальнях" так себе, обыкновенные, зато коридоры гулкие посредством шириности и каменного пола, на котором так сладко отбивать занозистую топотуху. Местный пролетариат так и остался в своих старорежимных избах, а "Спальни" оккупирует пролетариат привозной, женский, значит. Ветеранам — льгота: комната на двоих, а прочие живут веселее — вшестером. Однако по малосознательности редко кто дотягивает до ветерана — едва истечет

трехгодичная обязательность, девчонки, звонко матерясь, упаковывают пожитки и разъезжаются кто куда. А уж через день-другой на их койках робко щебечут новенькие.

Не приживается в Иванеевке девичий народ — и все. Главное, дефицит женихов — на семь женских единиц всего одна мужская. Не раз отправлялись в Кремль коллективные прошения на предмет разместить в Иванеевке полк беззаветно героических солдат, но все безответно.

На почве этой половой диспропорции случались между местными и вербованными визгливые батальи, в ходе которых выяснялось, что эти "спальные" соплухи разрушают туземные семьи, приманивая мужиков. А то как-то раз и вовсе дошло до убийства. Пятеро их было, подружек, и по весне они так заневестились телом, что затащили в лесок барачного коменданта, перетянули срамной орган суровой ниткой и заездили, защипали, затискали до смерти. Из самого районного Александрова ученого пса привезли, он взял след и держал его аж до Вонючки — пруда, в который комбинат спускает свои многоцветные воды. Тут пес обиженно взвыл, и никакие побои не могли подвигнуть его на дальнейшие розыски. Оно бы так и заглохло, если бы подружки не посягнули еще раз — теперь уже на Ваську-Бугая, комбинатского кладовщика, о мужской доблести которого только что были не сказывали. Но он каким-то чудом вырвался и прямо как был без порток, весь исполованный сладострастными ногтями, ввалился в милицию. Скандальное получилось дело, однако по малолетству насильниц никто больше десятки не получил.

\* \* \*



*Двухэтажных домов в Иванеевке всего горком да милиция, а прочие, не считая "Спален", — деревянные избы, иные чуть ли не столетней ветхости.*

*Прядильно-ткацкий комбинат что-то там, как ему и положено, пряд и ткал. Но если бы какому-нибудь вражескому иностранцу удалось хитроумно проникнуть в Иванеевку, на комбинат через проходную ему ни в жизнь не проскользнуть — ВОХРА трупами ляжет на его пути. Конечно, не поставишь охранника у каждого лаза, а их сколько угодно в высоком заборе — где каменном, где из ржавых прутьев, а где и просто дощатом. Но зачем это иностранцу? Разве что подсмотреть, как трудились женщины на заре века: марево тряпичной пыли, теснота, духота, одуряющее громыхание станков, которым место не в цеху, а в музее, рядом с кепкой Ильича или портянками Чапаева.*

*Всяких заплеванных-заблеваемых забегаловок в городе бессчетно, а вот ресторан, чтобы культурно напиться, один-одинешенек — привокзальный. Зато есть Дом культуры — с колоннами, как в древнем Риме, всегда почему-то облупленный, словно по нему шрапнелью палили. Из культуры там наличествует библиотека с тремя стеллажами книг, кружок баянистов-аккордеонистов, кинозал и асфальтированная площадка для танцев под радиолу.*

*Поскольку мужского человечества в Иванеевке всего-ничего, то и распинаться о нем особенно не стоит. Днем оно вкалывает или делает вид, что вкалывает, вечерами пьет, забывает козла, редко-редко суетится по хозяйству, рискуя в таком случае прослыть кулаком. Молодняк все*

больше около Дома культуры ошивается или в "Спальнях". Темными глухими вечерами пошаливают стопорилы и бакланье — первые норовят разбогатеть, сдирая с прохожих часы, пиджаки, шапки, вторые пробивают головы свинчатками просто так, для души.

В общем, городишко никудышный, обычный то есть. Однако впечатление, что жизнь в Иванеевке убога, — поверхностно. Все относительно: что убого, взирая с какой-нибудь там Эйфелевой колокольни, — крайне пестро и весело, глядя из соседней деревни Заболотное. И радостей у обитателей Иванеевки ничуть не меньше, чем у тех, чьи окна выходят на Елисейские поля: то с обновкой повезет — аж у соседки завистливые глаза на лоб вылезли, — то в очереди за маслом так удалось уязвить гунявую Маньку, что та со слезой из магазина выскочила, то вот всего за бутылку Леха-Прыщ машину угля опрокинул во двор — и никто не видал-не слышал... Конечно, объявим, что завтра в Москву можно переселиться, так в Иванеевке разве что юродивая Катька останется. Но раз нельзя, так нельзя...

А вот Тане мечталось, что все же как-нибудь можно...

\* \* \*

Конечно, с ней случалось все то, что неизбежно случается со всеми девчушками: и тискали ее по углам, застигнув врасплох, и подпойть пытались, и изнасиловать в лесу, когда она по грибы ходила, и сама она, влекомая девичьим любопытством, порой подставлялась в ситуации рискованные, и влюблялась не раз и тогда в иные вечера томилась, места себе не находила, и мечтала

*вовсе не о том, что пришло бы в голову постороннему наблюдателю, увидь он в эту минуту мохнатый прищур ее чуть близоруких глаз и милую, задумчивую мягкость всех черт лица. Но все-таки благородные принцы и прекрасные замки в ее мечтаниях преобладали. Вообще жизнь в Иванеевке не оставляла, казалось бы, места для воздушных витаний, но иная девичья головка так устроена, что, если только не тыкать ее каждую минуту в жизненную грязь, она сумеет вымечтать своего принца и в хлеву сидючи.*

— Таню, говорю, не трогай...

Сипягин прищурился:

— Ого, как тебя зацепило! — и рассмеялся. — Что ж, это дело хорошее, молодое, как говорится. Бог в помощь. Однако... — он прошелся взад-вперед и встал перед Дмитрием с вызовом. — Однако я уж буду писать как знаю... Вот Иванеевка, сам говоришь, вполне удалась. А ведь Таня тамошняя, и...

— Сипягин! — раздалось гневно из-за ширмы.

— Видишь ли, — сказал Дмитрий уже от двери, — все правильно ты ухватил. Только, во-первых, ты, я вижу, заходил к Таниной матери...

— Чаевничал... Нельзя, что ли? — злым голосом спросил Сипягин. — На тебя не ссылался, не бойся. Я и без рекомендательного письма умею к человеку подойти.

— А во-вторых, глаз у тебя какой-то мрачный — уж больно все беспросветно. Платонова ты, чувствую, читал внимательно, но главного не вычитал — у него всегда что-то светит, хоть чуть-чуть... Но вообще-то растешь: от Чернышевского к Платонову, минуя слепого писателя

Колю Островского... — и, показывая, что шутит, улыбнулся — самую чуточку.

\* \* \*

Конечно, черт с ним, пусть пишет. Не запретишь ведь. И все равно — был друг, стал соглядатай. Противно. Хватит, больше к нему — ни ногой.

Но — сам пришел:

— Чего ж ты?.. В бутылке пребываешь? Аки джин: залезть — залез, а вылезть — слабо... Ладно, на меня можешь сопеть, а бабку-то навестил бы, гриппует старая.

Заострив кверху белый нос, Вера Никандровна полулежала на топчане, обложившись подушками и книгами. Слабой рукой приняла коробку конфет, ласково посияла глазами.

— Ей не велено разговаривать — с горлом что-то, — всунулся Сипягин.

С минуту помявшись и получив разрешающий кивок, Дмитрий наладился к выходу, но там, конечно, подстерегал Сипягин — перехватил, загородив своей тушей дверь.

— Зря, старик, гневаешься. Ну, пишу и пишу... Что ты там такого уж усмотрел?.. С Таней ты, может, и прав — материя деликатная, а я вторгся, как слон на свадьбу. Так что извини, как говорится...

— Я вообще не понимаю, к чему все это. Зачем именно про меня?

— А на чем мне шлифоваться? На Ван Ваньче Иванове, на Крюке каком-нибудь?.. О нем что ни напиши, не разберешь — правда или лажа. Сам не разберешь. Да и он в ответ разве что промычит: "Какие галоши? Я галош в том году не но-

сил...” Секешь? А так я тебе про тебя почитаю и вижу: в цвет!.. Или — не в цвет, — отвернувшись к столу, он порылся в бумагах. — Да не куксись ты! Только пару страничек. Мне важно проверить. Вот скажи, верно ли я просек, что только теперь, когда Таня... В общем, квартирный вопрос и тебя зацепил?

— Ну... Более или менее, — нехотя согласился Дмитрий. — Ты прямо мудрец — наскрозь проникаешь...

— Важно, как я на это вышел. Композиционно... Так, это про твою заводскую жизнь после школы, — он отложил несколько листов. — А вот:

*Дом трехэтажный, еще дореволюционной солидной кладки, но облезлый, как старый пес, протерший шерсть до самой кожи. В полутемном подъезде потеки мочи, плесень на стенах, сырая затхлость. В комнатах, какую форточку ни отвори, шибает кислой капустой. Откуда берется этот запах, никто не знает — местная загадка. В пятидесятые долговязый алкаш Врыкин говорил укоризненным шепотом:*

*— Чем снежного человека ловить-изучать, лучше бы запах кислый поймали: откуда он?*

*Позже он кричал:*

*— Спутники запускают, а откуда запах текет, на это денег нету!..*

*Экономная лампочка на крысином хвостике шнура тускло освещает коридор — на стене корыто и ржавый велосипед. В конце коридора боксик уборной, кухня и общественный чулан с вялыми тушами рваных тулупов и телогреек, на полу галоши без задников, заскорюзлые ботин-*

ки разных размеров вперемешку с красными томами сочинений И. В. Сталина.

С соседями Дмитрию повезло. А с тех пор, как скопытился куражистый алкаш Врыкин, и вовсе терпимо стало. Вместо Врыкина, в тот самый день, как вынесли его гроб, вселили стариков Пузиковых. Сам он — тихий кляузник, но важно, что тихий, она — богомольная старушка с добрым пухлым лицом.

В третьей комнате, у самой кухни, Анна Михайловна, медсестра — взбалмошная, крикливая, но вовсе незлая бабенка бесформенной упитанности. При ней дочь Катя. Отец семейства — жилистый, кривоногий сморчок по кличке Жмот — покинул их ради вдовы, одноглазой, но с двумя комнатами и мотоциклом, выигранным в лотерею. Раньше много от Жмота всяких неудобств Громывым случалось. Раз он даже донос на Николая Парфеновича накатал, что тот, занимая комнату в целых шестнадцать метров, не вырезал из Большой Советской Энциклопедии статью про шпиона Берию, хотя, как все подписчики, письмо с указанием ликвидировать вышеуказанную статью получил... Впрочем, донос почему-то остался без последствий, если не считать того, что Николай Парфенович, узнав о нем, Берию вырезал, а с шестого тома и вовсе перестал выкупать энциклопедию — для полного-то собрания пришлось бы книжный шкаф приобретать. А куда его втиснуть?

Время от времени Жмот появляется, под предлогом дочку навестить. Сперва из их комнаты доносятся задушевные, на слезе, или залихватские, с притопом и присвистом, песни, а потом — взвизги, возня и вскрики сладострастного содержания. Катьку выгоняют, предполагается — гу-

лять. Но она, крепко скрестив худенькие ножки, судорожно дергая задиком, льнет к замочной скважине. Приходится отрывать ее силой, выпроваживая на улицу или хотя бы на кухню, если дело в стужу или в дождь. Из ее пухлого, вишенкой, ротика пахнет сладким вином.

— Нечего смотреть, как взрослые пьянь пьянствуют, — поучает ее старушка Пузикова.

Та отмалчивается, отводит глаза и презрительно сжимает губки, но раз — ей лет восемь было — не вытерпела, осадила старушку:

— Много вы понимаете! Пьянствуют... Они ебаются!

\* \* \*

В какой-нибудь полусотне шагов от его дома громоздится облицованная изразцом многоэтажка.

— Между прочим, — Сипягин оторвался от рукописи, — в народе такие дома зовут: "из привилегированного кирпича".

Изразец, едва жильцы вселились, пооблетел, изуродовав фасад ступенчатыми гротесками. Оберегая головы прохожих, дом опоясали сетчатой юбкой, торчком, как у балерины. Зато интерьер — закачаешься: просторный холл, пальма в кадке, зеркало, облитые светом раздольные лестничные марши, всегда до блеска вымытые...

Едва войдешь — лифтер:

— К кому изволите?

— К Ван Ванычу Баринову.

— Как вас величать?

— Сан Саныч Холуев.

Он сей секунд за телефон:

— Товарищ Баринов, к вам тут какой-то Холуев. Изволите пустить?

Дмитрий, взглянув на часы, прервал:

— Вполне фельетонно. А у меня со временем не очень. И потом — при чем тут я?

— Так в этом же доме... вон он, — Сипягин махнул рукой в сторону окна, — генеральский сынок. Он мне зацепка... Ну, слушай, слушай дальше, — Сипягин торопливо переворошил листки и вытащил нужный. — Это мы пропустим, а вот, про генерала.

...Раз как-то, подойдя к окну, генерал ткнул укоризненным пальцем в сторону многоэтажки:

— Халтуришки!.. Вон гляди, много ли ему веку-то, и что ни лето — ремонт, а как вот три года тому отвалился кусок трубы — во-он, под самой крышей, видишь? — так до сих пор и нет его. Про изразцы уж молчу. Не могут, не могут, курицыны дети! Во-он, гляди — я уж давно заметил и все смеюсь, — какая фигура-то сложилась. Да вон, вон, — тыкал он пальцем, и Николай Парфенович вертел жилистой шеей, чтобы уследить. — Картинка-то какая получилась. Вот, где изразцы-то облетели... Углядел? Кукиш! Этаким монументальный шиш, символический, так сказать... Я всегда, как подъезжаю, смеюсь.

Дмитрия, случавшегося при этих разговорах, коробила покладистость отца — тот хоть и спорил с генералом, но как бы уступая, и спорил-то, чтобы уступить... Или вот, к чему он, например, скрипел протезом, вертел шеей старательно,



высматривая тот кукиш, если, едва за генералом закрылась дверь, плюнул в сердцах:

— Ку-укиш!.. Жопа там, а не кукиш!

Дмитрий потом проверил — в самом деле: изразцовый обвал смотрелся как огромная, вздутая влево задница...

Сипягин читал-торопился, глаз не подымал, но и не глядя, видел, как кривит Дмитрий губы. А тут и вовсе откровенно хмыкнул.

— Ты же отца ты́сячу лет знаешь. Ты когда-нибудь слышал от него?..

— Понял, понял... Но все-таки через войну, лагерь прошел. В сердцах-то может?..

Дмитрий встал с кушетки.

— Я же тебе говорю: нет.

— Ну, хорошо, исправлю... А как насчет общей идеи? В смысле этой многоэтажки? Материализованный символ. Почему, дескать, не я там живу? А этот не-то-кукиш-не-то-жопа — ответ...

— То есть не завидую ли я и так далее?

— Да... Само собой, речь не о примитивной зависти. Но этот символ под боком должен же какую-то желчь привносить?

— В моем случае, боюсь, нет.

Сипягин откинулся на стуле:

— Да ла-адно тебе, — протянул уличающе.

Дмитрий рассмеялся:

— Ты о ком, в конце концов, пишешь? Обо мне или о себе? А если обо мне, так слушай, что тебе персонаж говорит.

Обрадованный, что хмурь сошла с лица Дмитрия, Сипягин приглашающе повел рукой:

— Садись. Чего вскочил?

— Да нет, мне в самом деле пора... В общем, с завистью ты того... высосал из пальца. Квартиру

там или что — это да, хочется. Но завидовать?..  
Чего нет, того нет... Вера Никандровна, — сказал  
он громко в сторону ширмы, — поправляйтесь!

Что-то неразборчивое прошелестело в ответ.

— Ага. Вот оно что, — Сипягин прищурился,  
соображая. — Значит, так? Может быть, может  
быть... Я подумаю...

## НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

За столом, перекосив правую щеку кулаком, — отец; на диване, нога на ногу, покачивая носком маленького ботинка, — генерал. Накликал Сипяга.

— Добрый день.

— Наше вам... Я же предупреждал Витьку: без корней человечиска, выскочка. Пукнет ветерок — и нет его. И точно: при Хруще — надутый, пузо вперед, голову брил, как у Самого. Не подходи!.. А теперь? Совхозишком командует. Но не думай: отец, дескать, под гору, потому и развод. Давно уже собачатся. Он ей вдоль, она поперек, он: "бриго", она: "рыло неумыто". Так что... Хотя кто же говорит, и карьера — не последнее дело. Пора бы уж. А он все шаляй-валяй... Прихожу — Высоцкий хрипит на всю квартиру. Так бы и врезал сапогом по магнитофону. Я сам люблю, так я же на пенсии — мне что? А ему расти надо, дураку... Вот говоришь, очерки... Подумаешь — "Огонек"! Делов-то куча! Это не карьера. Для очерков и в Америку не надо ехать. Он их, кстати, до Америки настрогал, не дурак — в Нью-Йорке сидючи, писать, как они

там загнивают да обостряются. А по магазинам когда, а в кино? И вообще...

Дмитрий вскипятил на кухне чайник, пристроил на подоконнике зеркальце. Повиснув меж рамами, коченела куриная тушка, в форточку задувало, холодило белую пену на щеке — бритва шла со скрипом.

— Филосо́ф, а филосо́ф, — окликнул его генерал. — Ты ведь, сдаётся, в электричестве кумекаешь?

Дмитрий кивнул, полуобернувшись.

— У сына там нелады — где горит, где не горит. А электрик провалился — запил, разумеется. Не сходил бы ты? Верно, ерунда какая-нибудь, на пару минут.

— Ладно, — сказал Дмитрий и поскорее отвернулся — не видеть просящих глаз отца.

Натужно крикнув, генерал в два приема поднялся с дивана и, пошатываясь, отправился в коридор — к телефону.

— Витьк, — донеслось, — насчет света. Сейчас придет. Лифтеру там скажи.

Ну, Сипяга, — пророк. "Извольте доложить: Сан Саньч Холуев".

— В общем, послушай он меня, — с порога продолжал генерал. — Да разве ж на то отец родной, чтобы к нему прислушиваться?.. Устарели, эпохи новой не сечем, физиков с шизиками путаем, и нужна ли ветка сирени в космосе, ответить не можем, — диван устало вздохнул. — А я тебе так скажу, Николай ты мой Парфеньч, может, она, ветка эта, в космосе в самый раз, да только космос мне на хер не нужен, а нужно человеку одно, хоть он физик, хоть он лирик, хоть эта эпоха, хоть вчерашняя: в жизни стоять крепко, стрелять метко, целить высоко, но не на самый верх, а

так, чтобы всегда кто-нибудь выше тебя сидел, ответственность, значит, чтоб на нем была, тогда голове — отдых, семье твоей — опора... Нет, теперь я на внушка ставлю, этот далеко пойдет... Словом, "шагай вперед, племя младое, незнакомое". Налей, что ли.

Чокнулись, разом выдохнули. Генерал поперхнулся, жилы на лбу напряглись рогаткой.

— Не пошла, зараза...

— Сколько ему, десять? — спросил отец, прожевал ломтик колбасы и снова подпер щеку кулаком.

— Одиннадцать. Удивляюсь пацану и завидую. Хорошей, понимаешь, завистью, с большой буквы. Тонкая штучка растет. То у него тройки да пары, и вдруг — пятерка на пятерке. Что такое?.. А он, козявка, подпас училку, как она с физкультурником обжималась. Другой бы — трезвонить на всю школу, а этот — молчок. "Извините, — говорит, — я нечаянно". И — никому. Теперь в любимчиках ходит... Сейчас это многие уловили, кто поумней: хочешь свою старость оградить — пускай корни, расти смену. Тут Витька, признаю, молоток — натаскивает малявку: что почем, кто под кем...

Семейка... — усмехнулся Дмитрий.

— Листал я тут Джиласа у Витьки. Слышал?.. Ну, как же? Титовский выкормыш... Честит нас в хвост и в гриву: революцию — украли, старых буржуев на новых поменяли, партийных. И все расписал: кто, что и ни за что у нас навар имеет... А я читал и думал: "Дурак ты, братец, хоть и ревизионист". То есть как это революция — коту под хвост? За то и боролись, чтобы рабочая косточка мяском обросла. Не для всех сразу, конечно... А равенство там и фратерните вся-

кое — это лозунг эпохи баррикад. Дураком-то не будь, знай, когда: "Грабь награбленное!", а когда за грабеж — к стенке... Или еще: с человеческим лицом! Чехи эти. Мы же их от немцев спасли, а они нам — про лицо. Именно у нас с человеческим, а вы все про какой-то выдуманный, книжкин социализм талдычите... Так что дурак он дураком, Джилас этот — за слова держится: что Маркс сказал, да тот, да третий... А мы свое завоевали и не отдадим. Как Хрущ в Америке резанул: "Что наше — то наше, а что ваше — это мы еще посмотрим!" Между прочим, это я подсказал Виктором шельмеца назвать, Виктор Викторыч он у нас... Я-то вот Модест, а он Виктор Викторыч...

\* \* \*

Виктор Модестович оказался среднего роста, лет под сорок, с простецким, улыбчивым лицом. Под серым свитером тонкой шерсти угадывалась мышечная стать, кривоватые ноги в облегающих джинсах ступали по-борцовски цепко.

Всего и работы-то — сменить пробку. Виктор Модестович мялся за спиной. Решает, усмехался Дмитрий: рублевку сунуть — не обижусь ли?

— Ну, спасибо! Выручил... Ничего, что я на ты?.. Из тьмы, можно сказать, извлек, — подмигнув, протянул рублевку. — На пиво.

Дмитрий покачал головой и не удержался — прыснул, как мальчишка. Тот, обежав его глазом, тоже хохотнул: "Молодец", — и потрепал по плечу.

Легко простучали каблучки.

— Жена, — успел сказать Виктор Модестович и поскучнел.

По-мальчишески стройная, с надменной гримаской на хорошеньком бледном личике — застыла в кухонной двери, как в раме.

— Что же это вы, любезный, — начала выговаривать с холодной брезгливостью, но вклинился Виктор Модестович:

— Постой, постой... Он не из жэка, а по доброте душевной...

Она, ничуть не смутившись, поощрительно кивнула.

Просторный коридор оклеен коричневыми обоями с черточками под дуб, одна стена — сплошь стеллажи. Завистливый глаз успел выхватить золотое тиснение Брокгауза-Эфрона.

\* \* \*

Знакомство аукнулось спустя пару месяцев.

Дело было воскресное. Как часто в конце марта, ударил мороз крещенской свирепости. Еще накануне Таня изучила "Вечерку", выскивая "Май фэйр леди". То эта Одри Хэпберн улыбалась со всех афиш, а теперь — в Черкизово вон, куда и метро-то еле доходит. Но — стоит.

— Ты видела "Май фэйр леди"? — одна в рыжей дубленке, громко, на полулицы. — Вкуса — бездна! — припечатала, готовая отстаивать свое убеждение до самой смерти.

— А изящество? — укорила ее другая — высокая, вся стильная, шубка на ней, как на манекене, и руки в перстнях. — Изящества тоже бездна.

Конечно, красовались. Одеты богато, так нарочно во весь голос, чтобы оглядывались на них. А все-таки...

Дмитрию она про дам не открылась — вышутит.

... — Я вижу, тебе не понравилось? — огорчилась Таня.

— Да нет, ничего... Голова болит, видно, простыл... Вообще-то, сентиментальная пустышка, хотя сделана красиво.

— А по-моему, очень трогательно. И как это "хотя"? Это идеи всякие — ерунда, занудство, а красота... самое оно и есть.

— Ну да, "красота спасет мир".

— Что ты сказал?

— Это не я. Достоевский.

Солнце клонилось к закату, мороз чуть отпустил, порывами налетал, взвихриваясь, колючий ветер, тревожная муть гуляла по небу, заваленному фиолетовым хламом. На том берегу мертвой площади угрюмо торчали впритык друг к другу заиндевевшие коробки блочных домов, закатные лучи скучно розовели в слепых окнах. Серые сугробы хранили клинопись воробьиных прогулок.

Вдруг тормознула с заносом взявшаяся ниоткуда "Волга".

— Братцы, спасайте! — голос с наигрышем отчаяния. — Семишник под зарез нужен! — и на ладони в приспущенном окне гривенник — на размен.

Дмитрий выгреб карманную мелочь, отделил пару двушек и положил их на теплую ладонь рядом с гривенником. В тот же миг они признали друг друга.

— А, это ты, спаситель! — обрадовался Виктор Модестович и завозился, выпрастываясь из машины. — Опять я у тебя в должниках. Если так пойдет — до рабства рукой подать... Что же ты не представишь меня г-ре красной даме?

— Таня, — повел Дмитрий рукой.



— Виктор, — наклонил тот голову. — Еду себе, напеваю, вдруг — ба! мне же звякнуть надо. И срочно... Вы в какие края? Не к центру?.. Подброшу. Только секундочку, — он пружинисто перемахнул через сугроб и нырнул в телефонную будку, но тут же вышел, весело чертыхаясь. — Не работает, конечно!.. Ну ладно, до следующей. Прошу вас, — Виктор Модестович распахнул Тане переднюю дверцу, поддержал за локоток.

Он еще раза два-три чертыхался возле телефонных будок, а когда наконец повезло — испустил вздох преувеличенного облегчения и заметно оживился.

— Очень важный звонок. Старичку одному, уже отставному, но весьма и весьма... С влиянием. Я к нему приставлен помогать по мемуарной части. Что он Черчилля с Чемберленом путает, Потсдам с Ялтой — еще туда-сюда. Я их сам путаю... Исправлю, он и не заметит. Но вот когда у него какой-нибудь Крыленко сперва рыжий, а потом черный, как цыган, или там Менжинский то грозно сверкает по-соколиному зорким глазом, то шурится подследовато — проблема! Старику и не заикнись — ботинком запустит. Тем более что у него тут опыт — уверяет, что именно он... Помните, как Хрущев в ООНе ботинком по столу?.. Так это мой подсказал не мучиться, не потеть под столом, а прихватить с собой лишний ботинок. Ооновцы рты раззявили: ну, Хрущ, ну, рубаха-парень! Душа нараспашку! Сказал — сделал! Разгневался — зашмак с ноги!.. Вниз-то им невдомек глянуть. Они вообще верхоглядьды.

Таня — само внимание, то и дело прыскала, приглашающе оборачиваясь к Дмитрию. Он выдавливал ответную улыбку, прикидывая, где бы

им поскорее высадиться. Но неудобно — решит, что ревную...

— Как насчет чайку? — спросил Виктор Модестович. — С мороза — первейшее дело... Я сейчас холостяком — жена с разбойником у деда, жизнь ему укорачивают.

Таня, на миг обернувшись к Дмитрию:

— С радостью.

Он даже и скривиться не успел. Хотелось сказать: "Я — нет", — но именно поэтому промолчал. Все отчаянней болела голова. И увидев свой дом, он тронул Виктора Модестовича за плечо:

— Минутку. Я за "тройчаткой" заскочу.

Из парадного вывалился румяный Сипягин и, мгновенно высмотрев в "Волге" хохочущую Таню, прищурился:

— Что за хлюст?

— Это?.. Ван Ваныч Баринов. Тот самый...

\* \* \*

"Чаек" обернулся ужином — с виски, голландской сельдью, семгой и клубничным мороженым. Виктор Модестович был в ударе, каждое его словечко играло, всякий жест был как-то по-особенному уместен и ловок.

— Золотой? — спросила Таня про кургузый шандал.

— Лучше. Медный, но... петровских времен.

Желтая миндалина-апельсина ровно висела над полешком свечи. Дмитрий прищурился — миндалина отделилась от стола и поплыла к окну. Сквозь ворох морозных перьев на стекле густо синели сумерки.

Среди застолья Дмитрий вдруг отключился,

застыв глазами на блюдечке с мороженым: розовый шарик бесшумно оплывал — распад, расплыв, непоправимость... На самом деле он ничего не видел. Его охватило тупое равнодушие, не хотелось шевелиться, в висках простудно пульсировало, тяжелая усталость набухала в ногах, и он все глубже погружался в безвольную темь отращения к себе, болезненного упоения своей никчемностью, мизерностью, бессилием...

— Что ж, за удачу! — вернул его к жизни бодрый голос Виктора Модестовича. Дмитрий поспешно чокнулся с ним и Таней, отхлебнул и начал сосредоточенно наблюдать, как на блюдечке перед ним стремительно оплывает клубничный шарик, и это наблюдение подкрепляло в нем смутное ощущение непоправимости происшедшего.

\* \* \*

Дмитрий успел уже подзабыть о том вечере, когда однажды, недели три спустя, Таня — небывалое дело — опоздала на полчаса и, запыхавшись, дохнула на него вином.

Измаявшись ожиданием, он таких несчастий успел навоображать, что, наконец увидев ее живой-здоровой, вздохнул облегченно, словно только что выхватил из-под колес.

Она — в магазин, а навстречу — Виктор Модестович. "Вот так случай, — говорит. — А я во сне видел, что мы с вами в ресторане сидим. Сны должны сбываться!" Ну, как откажешься? Неудобно. Он такой джентльмен, прямо Грегори Пек, и о Дмитрие самого высокого мнения, настоящий, говорит, он у вас рыцарь (тут она легонько чмокнула Дмитрия в щеку, снова обдав

его винным запахом), жаль только, что не в вузе: без диплома не пробьешься и уж тем более — за границу...

Дмитрий остановился, вскипев:

— Да пошел он с этой заграницей!

Они уже были в вестибюле метро, в коловращенье усталого, раздраженного люда, их толкали со всех сторон, то притискивая друг к другу, то разводя в разные стороны.

— И в какую заграницу? В ту, которую он дома к столу подает вместе с виски, или в страшненькую, из "Огонька"?

Взяв Таню за локоть, Дмитрий пробился к стене, где поспокойней, и выдернул из кармана скатанный в трубку журнал.

— Вот смотри, как там ужасно. Видишь — трущобы, а вот наркоман на улице спит... Я нарочно купил — показать тебе. А вот он пишет: "Трудно вообразить, но американцы просто не могут понять, что такое, например, "получить квартиру". Как так — "получить"? В их голове не укладывается, что человек может получить квартиру от государства. И таких реальностей, обыденных для советского человека, просто не счесть. И нет в их словаре слов..." Ну и так далее. В самом деле, нет в их словаре многих слов. Ну, как ты, например, переведешь хотя бы: "в магазине выбросили сапоги"?

Танины глаза сузились:

— Как же он, по-твоему, должен писать — чтобы его посадили или чтобы напечатали?

— Я думаю: пиши, как на самом деле есть, а уж как оно там после получится — посадят или наградят — дело другое...

Кто-то мягко постукал Дмитрию в спину — оказался детских размеров старичок в черном,

сильно потертом пальто, с круглым морщинистым личиком, с глазами веселой голубизны.

— Я, извините великодушно, случайно... Поскольку рядом, а вы во весь голос... Хочу только заметить: совершенно прав молодой человек. Ах, как прав! Отраднo слышать. И к тому же автор этого, вами цитированного опуса не изволил упомянуть, что недоступное иностранному уму выражение "получить квартиру" имеет еще одно значение: "оказаться на киче", в тюрьме то есть... Простите, что вмешался.

Он ласково посял глазами сначала Дмитрию, потом Тане, поклонился и всосался в толпу.

Они переглянулись, Таня скорчила гримаску недоумения, самую Дмитрием любимую, и — оба рассмеялись.

СОГЛЯДАТАЙ (II):  
племя младое

— Может, вылезешь из-за ширмы? По-человечески.

— Ничего, мне и здесь слышно.

— Ну, как знаешь, — Сипягин откашлялся.

*Из-за карнизов, отороченных снегом, пялились безумные бельма окон.*

*— Садитесь! Подброшу! — крикнул Виктор Модестович.*

*И тут же шутки у них пошли, смех. А Дмитрий сзади, сам по себе.*

*Ерунда, отмахнулся он.*

*Конечно, прочитай он о таком в романе, не обинуясь угадал бы, что тут без значительных последствий не обойдется: не будет же автор бумагу переводить на беспоследственные ситуации...*

*Не упомянув о всякой ерунде, не объяснить, почему Дмитрий так вяло реагировал на очевидные усилия Виктора Модестовича очаровать Танию. Тот день выпал не только морозным, но и — к вечеру — ветреным, а денег, чтобы пойти, например, в кафе, не случилось. К тому же Дмитрия еще в субботу продуло, потрескивала голова,*

верхнюю губу обметала лихорадка — пупырчатая до отвращения... Вот почему он замешкался подать Тане решительный знак: пусть, мол, этот Модестович валит отсюда мелким шагом. А будь дело после получки, не выскочи он накануне на уличный продув... все, в конце концов, случилось бы, по сути, так же, но — в другой день, в окружении других случайностей, к каковым следует причислить и самого Виктора Модестовича.

Безумные бельма окон над стылым уличным безлюдьем...

\* \* \*

Как ни странно, между Дмитрием и толстой, но еще вполне привлекательной женой Виктора Модестовича установилось некое взаимопонимание: та с опаской поглядывала на Таню и...

— А ты ее видел, жену?

— Да какая разница?.. Хотя... Верно. Давай-ка я ее в черновичок пока.

*Жена. Выяснить или совсем убрать ее. А сынок их где? Дать его парой мазков: капризный самодурчик, клубок эгоизмов... А лучше отправить его вместе с мамашей к деду, что ли.*

— Может, оно и так, — то ли устало, то ли грустно сказала Вера Никандровна. — Правдоподобно... Ты где?.. Ушел, что ли? — неуверенно аукнулась она и вздохнула.

— Тут я, — наконец откликнулся Сипягин. — Писал.

— Правдоподобно, говорю... Только не вздумай Дмитрию читать. Да и вообще, писал бы о другом. Что за манера — подглядывать?

— Э-э, бабка, не скажи. Выдумать всякий стри-

кулист может. А — угадать! А — вычислить! По деталькам, гримасе, словечку просечь до нутра, и потом — глядь! — сбылось!.. Это дороже всего. Значит, я верно схватываю людей, их пружинки... А сынка ихнего я видел. Летом еще, когда генералу капусту возил. Козявка такая... И видел-то мельком, секунду какую, а — всеми потрохами учуял. Я эту породу противную насквозь знаю.

\* \* \*

— ...Позвольте, уважаемый Модест Петрович, не согласиться с вами. Это не демократия, это хамократия, поскольку лакей, придя к власти, не в господина оборачивается, а в хама, и государство становится хамским государством.

— Эх вы загнули, батюшка поп. К тому же и себе в пику... Вы вот как-то Израиль на все лады перевозносили. Так?.. Так!.. А уж какие еврейцы холопы — всеизвестно. Как же так: их хвалите, а свое кровное?..

— Вы меня, милейший Модест Петрович, извините, однако вновь осмелюсь напомнить, что батюшкой зваться не достоин. Был некогда рукоположен, пострадал во время оно и не превозмог мытарств, не укрепился духом, за что и прозябаю в звании конюха колхоза "Путь Ильича". Впрочем, не жалеюсь...

Так этот старикан, в натуре, поп? — удивился Вик. Ему давно наскучило лежать под верандой, но толстая дедова тень навалилась на песчаную дорожку, не шелохнется, как часовой: разговоры разговорами, а следит, как Васена огород полет. Вчера такой разгон ей устроил... И правильно: нанялась — работай...



— ...А насчет Израиля вы, милейший, заблуждаетесь. Бытование государства сего не только не опровергает мысль о лакеях, но напротив... Будь евреи натуральные лакеи... Трем — не менее! — поколениям должно прейти, чтобы лакейство изжить и получить то, что они как бы обрели вдруг: страну пахарей и воинов. В том-то и штука, что не вдруг. Уж не говоря, что сыны Израилевы логике человеческой не подлежат, ибо пребывают в руке Божией — карающей их особо, но и пасущей, от окончательной гибели оберегающей, — они и лакеями-то были и есмь ненастоящими. Так, прикидываются только страха ради иудейска, ради спасения живота. А ража этого лакейского, нутрянного у них не водится. Не то что наш лакей. Пока он в передней на балалайке трендел — Бог с ним, а у власти — хуже нет...

Тень качнулась, поползла, исчезла. Вик на карачках выбрался из-под веранды и бочком-бочком — к калитке. Пиратка весело оскалилась, замолотила хвостом, он показал ей кулак: не до тебя тут!.. Как вдруг Пиратка тряхнула цепью, зарычала и с лаем выкатилась из будки — по ту сторону забора стояли двое: мужик в розовой майке, с малярным ведром в руке, и белобрысый шкет, тоже в майке, тоже в розовой, трусы до колен и босиком.

— Пиратка, цыц! — крикнул дед.

Вик состроил скучающую мину и поплелся на веранду.

— Краску возьмешь в чулане, — командовал генерал. — Да пол газетами застели, а то заляпаешь... Твой, что ли, пацан-то? Сколько ему?.. Ровесники, значит, — он кивнул на Вика. — Вот и пусть пока поиграют.

*Мужик не отводил глаз от графинчика с коньяком.*

*— Эта... Товарищ генерал, боевые сто грамм бы... перед атакой, — он переминался с ноги на ногу, чесал затылок.*

*— Хм... Ну, ладно, возьми там стакан на кухне, — а сам, развернувшись на стуле, пошарил в тумбочке. — Ему все равно, что пить, — пояснил попу, достав бутылку водки, и — Вику: — Чего ж ты? Иди с парнем, поиграйте.*

*Вразвалку, загребая ногами землю, Вик направился к беседке. Там было, как всегда, прохладно.*

*— Ну, чего прешься? — он обернулся к шкету и скрестил руки на груди, по-отцовски — так получался очень внушительный вид. — Как звать?*

*— Ваня, — сказал тот миролюбиво.*

*— Ва-анька? Это разве имя? Ва-а-анька... Меня вот Виктор — значит, победитель, по-французски. А тебя — Ванька-встанька.*

*— Ну, Иван.*

*— Иван насрал в диван.*

*Тот налился, как помидор.*

*— А ты... ты...*

*— Ну, ну... — подзуживал Вик. — Слабо придумать, Иван-насрал-в-диван?*

*Тот стоял красный, переминался с ноги на ногу.*

*— Чего без ботинок-то? Денег, что ли, нету? Шкет держался, молчал, но боком чуть развернулся к выходу.*

*Вик смилостивился:*

*— Садись, чего ты... — схватил его за майку и потянул к скамейке. Тот нехотя поддался, однако смотрел в землю.*

*— Когда дед загнется, — сказал Вик, — дом мне*

достанется. Я тут буду полный хозяин... А ты где живешь?

— На том конце, у выпаса.

— В избе, что ли?

— В избе.

— Колхозник, значит. А я в Москве, в спец-доме. Тебя туда и не пустят...

— Больно надо, — шкет пренебрежительно сплюнул, но Вик заметил, как дрожал его голос, и понял, что победил, однако настоящего удовольствия от этого не испытал. Он порылся в брюках и вытащил перочинный ножик. Небрежно открыл все три лезвия.

— Видал такой?

Шкет молчал, только синие глаза его заискрились завистью.

— Его милиция запрещает — им сразу до сердца можно достать. Острый. На, попробуй — режани по столу... Сильней... Видишь, какой острый?.. Хочешь, тебе подарю?

Тот кивнул недоверчиво, не спуская глаз с ножа.

— Давай верхом вокруг дома. Три раза — и ножик твой.

— Обдурить...

— Я?.. Ты, Иван-награл-в-диван, ты говори да не заговаривайся... Это ты можешь обдурить: ножик возьмешь, а сам дриснешь в лес... Вот я кладу его на стол: прокатаешь три раза — забурай.

Они вышли из беседки, шкет повернулся костлявой спиной, присел чуть-чуть, подхватил Вика под коленки и затрусил мимо веранды, за угол, мимо клумбы, снова за угол, по тропинке между грядок, опять за угол...

— Давай, давай! — Вик наяривал пятками,

*взмахивал рукой, как будто там была плеть. — Шашки наголо!.. Ура!..*

*— Витька, слезь с парня! — крикнул с веранды дед.*

*— А мы по очереди! На обменку...*

*Шкет едва перебирал ногами, от волос его противно несло потом, спина стала скользкой. Но вот и беседка. Вик соскочил на землю и тут же — правой ногой подсечку, обоими кулаками с маху в грудь... Еще миг — и ножик в кармане. Шкет набычился, сжал кулаки, а у самого слезы в глазах... Вик отступил за стол и тоже выставил кулаки.*

*— Я деду скажу: ты весь стол изрезал. Он твоего отца — под жопу...*

## ЖИТУХА

Он укорачивал шаг, чтобы чувствовать ее плечо, ее бедро.

— Я у костра люблю сидеть... Хоть всю ночь напролет.

— Я тоже, — радостно подхватила она. — Только вот комары...

— А мазь?

— От нее кожа портится — ты меня разлюбишь.

— Ну уж? — рассмеялся он. — При чем тут кожа?.. Достанем палатку, рюкзак у меня есть... А в сентябре — загс, так?

— Но с условием: ты идешь в институт. Заочный, само собой.

Дмитрий усмехнулся: "в институт", все равно какой.

— Я уже и ширму присмотрела — отгородим угол. Тесно, конечно... Зато — козырь: о квартире хлопотать. Я все разузнала.

И она пустилась в подробности, как и куда писать, в какие двери стучать... Желтая серьга месяца в звездном небе, сонная тишина окраинной улицы в раскидистых тополях скорее побуждали к старинным тихим стихам или просто к молча-

нию, чем к прозе житейских расчетов. Но вот Таня выговорила: "дом... наш, свой, только на двоих угол", и лицо ее с озабоченными, высчитывающими глазами разом потеплело, больше и больше, и вдруг улыбнулось — словно дверь отворилась в сад, и из этой отворенной двери обдало Дмитрия нежностью. Обдало, охватило, накрыло с головой... Бедная девочка! "Дом" рифмует со "счастьем"... Пусть бы две комнатки — одну отцу, другую нам...

Чуть слышно шелестели тополя, и под хрупким покровом тишины угадывалось томительное беспокойство последних дней весны, вот-вот готовой растопиться в лето. Он вздохнул всей грудью... Вдали останкинская башня, очерченная пунктиром огней, плыла, с тихим гулом раздвигая звезды. Конец улицы утопал в тени тополей, сужаясь темным туннелем, и, казалось, если идти по нему бесшумным шагом, то сперва будет все уже и темнее, а потом разом распахнется влажно-зеленый, облитый солнцем простор, сотканный из высокого птичьего звона, исчерченный капризными взбрыками гнедых скакунов... Лежи в промытой росной траве, щурься в бездонность неба, чужая каждой клеточкой, как беззаботная земляная сила полнит тело...

Краем глаза он ловил во дворике справа хоть кусты какие-нибудь, хоть скамейку...

Из переулка, словно из засады, с гоготом вывалилась гитарная компания. Гитарист, проходя, задиристо поддел Дмитрия лихим плечом и завел нарочно гнусавым голосом:

Я спою вам нескладуху,  
Нескладуху русскую:  
Сидит заяц на березе,  
Негде девке засадить.

Таня сделала безразличное лицо, словно ничего не слыша. Дмитрий виновато улыбнулся и прикрыл ее уши ладонями.

\* \* \*

Повестку из военкомата не по почте прислали, а с нарочным, под расписку: явиться первого июля помытым-постриженным, с ложкой-кружкой... Даже и про медкомиссию ни слова.

А-а, чушь, напутали чего-нибудь, бодрился Дмитрий, на днях съезжу... Но отец встревожился. Особенно это первое июля занозой засело — вовсе непризывное время. Из военкомата вернулся пуще прежнего не в себе и давай названивать в Абрамцево.

Генерал явился не тотчас, а спустя дней десять.

— Я это дело провентилировал, — начал он неспешно, готовясь к эпическому повествованию.

— Ну? — нервничал отец.

— Правильно ты просек обстановочку — кто-то постарался насчет твоего, — он задумчиво ощупал бородавку на бронзовой от загара лысине. — Во-время ты мне сигнализировал. Забрить сына при больном отце — это же... Но ничего: только унюхали, что я лично заинтересовался, — сразу в кусты, — он обернулся к Дмитрию. — Кто это под тебя копает, профессор?

Дмитрий пожал плечами. Красуется старикан — заговор открыл!.. Но все равно спасибо — канитель эта с плеч долой.

— Спасибо за хлопоты, — искренне сказал уже с порога. — Извините, я исчезаю.

Вечером — к Сипяге на день рождения. Надо бутылкой разжиться. Сипяга заранее оповестил:

”Подарки — тлен, бутылка — пароль и пропуск”.  
А угловой гастроном на замке...

Духота не спадала, в троллейбусе пахло всеобщим раздражением, настоящим на едком поте. Шею щекотало чужое дыхание — горячее, луковое. Он чуть повернулся, скосил глаз — пористый блин в бисере пота, под блином связка рыжих бус, душное платье в россыпи оранжевых цветов, как на кухонных обоях, и так же, как на обоях, по платью расплывались пятна кислой сырости. Тетка деловито въехала локтем ему под лопатку, нажала, кося исподтишка злым глазом, повернула, пока он не сдался — оттешился, вжался в задних, лишь бы ей, громоздкой, просторней стало.

А вот и гастроном. Витрина с бутафорским окороком спит, вобрав в себя — всем стеклом — вялую зелень уличного вяза, зато дверь бессонным маятником гуляет взад-вперед, впуская-выпуская.

Очередь еле перебирала ногами. Перед Дмитрием лысый старик с гордым профилем ирокеза считал мелочь на желтой ладони.

— Ну? — подкатился к нему дружок — бутылка ”Московской” бережно прижата к вислому пузу.

— На два сырка хватит, — важно сообщил ирокез.

— А может, сырок и батон?

— Можно и так.

Внезапно у прилавка взвихрился возмущенный гул и выплеснул на самый верх, под потолок, вскрик, всхлип и снова вскрик... Очередь взбодрилась, качнулась вперед, затаила дыхание: жилистый верзила, свирепо перекосив лошадиное лицо, пинал, душил, тряс щуплого парнишку.



— Так его! — поощрила старуха за спиной Дмитрия. — Чтоб не пер без очереди!

— Рубашку-то, рубашку не рви! — взрыдал тот — голова его тряпично моталась из стороны в сторону.

Ирокез хищно оскалился, нерусские ноздри его грозно раздувались:

— Во как у нас! Голый голого ебет и кричит: не рви рубаху... Так-то раз я тоже кошку изловил. В голод было — сейчас, думаю, обдеру и сварю. А сосед — завидки его взяли — дреколем меня по хребтине. Кошка ка-ак брызнет в кусты. Лежу я, жив ли, мертв — не разберу, только смотрю: звезды в небе теплятся, не много их, а все-таки... И сосед валяется обок, борода кверху, плачет: пошто кошку упустил?.. Я этих кошек с тех пор презираю, как встречу — сейчас ей в зубы ногой. И бородатых не уважаю. Дочь вон, непутевка, за бороду вышла. Я ему: а ну, сбрей, стилига! А баба моя сразу нос по ветру: опять виница накушался? Ну и что? Пью, чтоб иметь душевность в товарище, а не чтоб ты меня глазом своим с презрением доставала.

— Это ты правильно, — одобрил пузан. — Значит, сырок и батон? Идет?

Совсем стемнело, посвежело, в троллейбусе уже не так парко, хотя все так же тесно, тяжелая авоська резала ладонь, цеплялась ячеистыми боками то за угол портфеля на коленях чахоточного старика с чапаевскими усами, то за пуговицу на платье рыхлой красавицы. Бормоча извинения, он неловко нагнулся — отцепить, — спешил, путался, его толкали, красавица презирала его, поджав пухлые губы. Справился наконец, весь в поту, искореженный стыдом...

И это жизнь?.. Нахлынули усталость и непро-

лазная грусть. Впереди — сплошь будни. Уже не то пугало, что бóльшая и лучшая часть дня проваливается в никуда, выплевывая его на вечерний берег измочаленным, а то, что втянулся в эту рутину — не замечал, не отмечал ее.

И Таня... Что-то разладилось в последние дни — скучная, раздраженная. Конечно, экзамены... Но и еще что-то.

Прилипший к его спине слабый в ногах толстяк гундосил себе под нос:

— Я не пью — выпиваю. На свои кровные... Все пьют. Ладно, пусть я сволочь. Принимаю... Правду я всегда уважаю. Пусть я сволочь, пусть. А он — жид. Икономный. А зачем икономить?.. Житу-у-ха... Все прошло, как с белых яблонь дым... Было и нету. Зачем все это? — вдруг заплакал он тихо, заскулил. — Заچه-е-ем?..

\* \* \*

Не рассчитал размаха — дверь ляпнулась о буфет. Неудобно свесив ноги, отец лежал на диване, генерал навалился на стол локтями — щеки, подпертые снизу ладонями, потеснили глаза, сузив их монголоидно. Коньяк темнел на самом доньшке — значит, стадия укоризн всем и вся.

— ...так что у нас, браток, против той Анны Карениной прогресс выходит, — продолжал генерал, выговаривая каждое слово с особой тщательностью человека в подпитии. — Она дитенка на хахаля променяла, а Витькина — на машину. Плюс десять тысяч, плюс полная смена гардероба. И беспрременно из "Березки", чтобы в горе своем материнском утешаться, а если, говорит, не из "Березки" — не видать тебе сына, как я

ему законная мать... Ну ладно, раскошелился Витька ради мальчика. Тут бы и сделать передышку, очухаться... Препятствий ему вроде нет: человека жена бросила, да еще такая кукушка оказалась — сына оставила. Такой ее аморальный облик... Ей от общества — осуждение, Витьке — сочувствие. Поживи, оглядись, обнюхайся... Так нег! Что, ты думаешь, планирует? Смекаешь?.. Точно: опять жениться хочет, детина стоеросовая. Что ж, я и с этим согласен — не по блядам же ему таскаться... Теперь главный вопрос: на ком? Так?.. Я ему толково вколачиваю (следи, Коля, за моей логикой): на ровне!.. Чтобы в доме — мир-ладь, и на людях не стыдно показаться. А он: "Сам знаю, что делать". Партийность, мол, не столбовое дворянство — от должности освобождают без земли... Ладно, может, и так. Ну, а чем тебе академики не угодили? Звание пожизненное, дочки на языках с детства шпрехают. Не в пример той кукушке — в нейлонах всю жизнь проходила, а двух слов по-заграничному не свяжет, знай апельсины лопают для диетной галии да журналы мод мусолит... Логично, Коля, а?.. Нет, ты скажи, логично?

— По-моему, вполне, — отозвался Николай Парфенович и, показывая заинтересованность, приподнял голову с диванного валика. Чувствовал он себя еще муторней обычного. с трудом удерживал набрякшие веки, чтобы не захлопнулись сами собой, то и дело поглаживал правый бок, где что-то нарывно пульсировало и туго поворачивалось, как перегруженная лодка.

Дмитрий рассовал продукты по буфетным полкам, а кефир и творог — отцов ужин — на стол. Вот зараза! — забыл купить сахару: отец с сахаром любит... Протиснулся к шифоньеру. Белье-

вая пачка вкусно пахла прачечной. С привычным удовольствием он прислушивался к генеральскому трепу и, тоже привычно, усмехался этому удовольствию.

Генерал потянулся за бутылкой, вопросительно глянул на Николая Парфеновича, тот слабо повел рукой: "Не могу", и генерал вздохнул горестно.

— Коля, ну чего ты, старый осел, упрямисься? Да я тебя в нашу больницу пристрою — раз плюнуть. Ну, не раз, так два, а пристрою. Там и уход, и лекарства импортные, и диагноз, гляди, другой пропишут... Чтоб себя до такого довести — сто граммов за вечер не пропустить!..

Николай Парфенович прикрыл глаза:

— Язву только на рак переписать можно, так с этим я не спешу. Но главное сейчас — печень, а в остальном — логично... И что тебе сынок ответил?

— Ну, дело хозяйское... А что ему отвечать? Смеется только, — генерал выпил, крякнул и совсем загрустил. — Я, впрочем, насчет этих академиков загнул, в пылу полемики, как говорится. Интеллигенция... С ней связываться — самое гиблое дело, шаткая публика. Дескать, талант нам лично товарищем Богом даден, а государство — тьфу... Талант талантом, а служба службой. Больно-то не возносите, а то как пойдете друг друга будить, так, гляди, там проснетесь, где одни вышки, и на каждой — Макар с автоматом. У нашей власти собственная гордость: ты хоть и князь, да я тебя — в грязь. Вот и выходит... Давай на из военной семьи — я ему. Нет, говорит, папаня, к народу надо ближе держаться, народ — он всему основа, он не подведет. Короче, втюрился, а теперь теорию поразвел: народ-огород...

— Что ж он действительно на простой надумал? — спросил Николай Парфенович с живым уже любопытством.

— Да уж проще некуда, — генерал хмыкнул с горечью. — Деревня подмосковная... Карточку показал — детсад да и только!.. Положим, смазливая — на нынешний их, золотушный вкус. Худая, ноги из самых подмышек растут, патлы рыжие пораспустила... И такую вот — в мачехи внуку моему?.. Ну, поглядим, поглядим...

Сидя на корточках, с головой уйдя в пронафталиненное нутро шифоньера, Дмитрий тянул из бельевой пачки рубашку... Но это был край простыни — рубашка давно уже лежала в стороне. Не может быть!.. Иванеевка же — не деревня. И потом — рыжая, говорит. Не она... Взять и спросить: как звать? Он поднялся и даже голову повернул к генералу, но — не выговаривалось, а только бешено колотилось сердце. Он снова уткнулся в белье — уловить что-нибудь еще, любой пустяк... Но генерал уже застрял в каком-то Гогоберидзе:

— ...от бандеровцев, пишет, еле спасся со всей своей тройкой трибунальской. В одних, мол, кальсонах драпали и автоматы побросали. Это я-то?.. Драпать-то драпали — не в том суть, хотя, между прочим, не драпали, а еле пистолетами отбились... Но не в правде дело, а в истине: как это так, чтобы советские регулярные части от лесного сброда бегали?! Ну, я его расчехвостил, Гогоберидзу эту. Ему из редакции: "Ваши мемуары не представляют исторического интереса". Кончилось пока ихнее время, усатиков...

В дверь просунулась голова Пузиковой:

— Мить, к телефону!

Он рванулся в коридор — Таня!

Оказалось — Сипягин:

— Сидим, ждем, терпим — мочи нет! Топай!..  
Мы у Ленки — один звонок.

Вернулся в комнату, молча и яростно схватил бутылку (отец с генералом только глянули удивленно) и, так и не сменив рубашку, спустился этажом ниже.

## ЗАСТОЛЬЕ — ЧАСТЬ ПОЭТИЧЕСКАЯ

Как чего — всегда у Ленки. Лишь бы Сипяге надо, Ленка расшибется: мамашу — к родственникам, сама — по магазинам, а потом неделю блевотину отмывает...

Кнопка легко уступила пальцу, и тут же, почти упреждая дребезг звонка, отворилась дверь — Сипягин: ковбойка распахнута до пупа, над бугром живота заросли черной шерсти, глаза блестят, блаженная ухмылка раздвигает пухлые щеки. Молча облапил за плечи, втолкнул в комнату и возгласил: "Явился!", словно Дмитрий — виновник торжества, над которым грянуло что-то, но теперь все обошлось, миновало, пронесло — можно выпить-закусить без стеснения.

В углу тлел торшер под розовым абажуром, на столе в баночках из-под майонеза мигали свечи — рыжие граненые пятышки метались по чашколу разномастных бутылок.

— Как в лучших домах, — Дмитрий брякнул пол-литру на стол. — Шандалы брежневских времен.

Из янтарного полумрака смотрели улыбчивые лица, все незнакомые. Текли те самые лучшие

минуты пьянки, когда, после первой пары рюмок, все ощущают праздничную отъединенность от остального человечества — теплое, хмельное братство... И одинокое сердце открывается мужской дружбе и женской любви, той и другой навечно... Глаз, обежав круг женских лиц, безошибочно выбирает единственное — чтобы поклоняться и робко завоевывать. "Но живем-то, говорю, не на облаке"... и — оказываешься почему-то возле другой: попроще, вполне милой, но слишком знакомой — как сестра. Заботишься о ней, не даешь смешивать водку с портвейном, а если не уследишь ненароком, то со всей братской нежностью сведешь в уборную — отблевать, и даже голову ей там же, в уборной, попридержишь, чтобы облегчить муки не только физические, но и душевные, потому что девушка молоденькая, неопытная, когда напьется сильно, даже если и не в первый раз, большое одиночество в мире чувствует... И — ничего, только еще родней она тебе после этого станет: сестра и есть сестра. Но, конечно, душой и всей своей смятенной плотью ты целый вечер прикован к той, недоступной, которая, как водится, сидит напротив, окруженная поклонением твоего только что обретенного друга, и ты на нее как будто даже и не смотришь, а все-таки связь между вами есть, да еще какая напряженная... И перед тем как очередную рюмку опрокинуть, вдруг в упор на нее взглянешь: мол, преклоняюсь, восхищен; и она в ответ легко так свою рюмку к губам поднесет: поняла, мол, спасибо. И "сестренка", взгляды перехватив, — ничего, не сердится. Потому что "та" никакая ей не соперница, а так — подпил "братец", томится о высоком... В конце, увы, проза: на исходе ночи салютная вспышка в



мозгу, тьма, во тьме — качка, потом что-то где-то рассветает, из рассветной мглы скалятся батарейные зубья — то ли комната, то ли коридор, а то и вовсе парадное незнакомое. Руки твои обнимают "сестренку", а та, единственно обожаемая, куда-то пропала, будто и не было ее вовсе, и никогда уже тебе с ней не встретиться, как, впрочем, и с "сестренкой".

Дмитрий обежал взглядом девичьи лица, с трудом узнал Ленку — до того накружилась — и язвительно вздохнул: некомплект — сплошь "сестрички"... Но улыбочивые лица в янтарной подсветке свечей были так доброжелательны... И вдохнув праздничный, издавна знакомый слитный запах салата "Оливье", винегрета, селедки с уксусом, духов "8-е марта", он встрепенулся — боль хоть и не улеглась, но притихла, свернулась калачиком, как зубной нерв, к которому прижали ватку с новокаином. Напьюсь, с отчаянным весельем сказал он себе.

Тыча в каждого пальцем, Сипягин называл имена, тут же вылетающие у Дмитрия из головы. Он ухватил лишь, что двое равно приземистых, в меру упитанных живчиков — студенты литинститута, поэты: Борис Мамин и Глеб Сибиряк. Та, которой он предназначался (судя по тому, как Сипягин его в ту сторону подталкивал), смотрела с дивана пьяненько, с интимной усмешечкой. Нога лихо закинута на другую... А зря — пухлые, коротковатые, в поросячьего цвета чулках.

Взыграла музыка, Мамин с Сибиряком, подхватив двух безмянных девиц, затопали пронзительную самбу "Прекрасный город", а Сипягин потащил Дмитрия к задвинутому в угол столу, выкрикивая: "Штрафную! Штрафную!" Дмитрий одну за другой проглотил две рюмки, поддел на

вилку ломтик селедки с уцепившимися за него промасленными кольцами лука, провалился в неглубокую воздушную яму, вынырнул, обернулся к Сипягину, но вместо сипягинского обнаружил розовое с ямочками лицо этой, что в чулках пороссячьих...

— На брудершафт? — кокетливо мигнуло лицо и протянуло стаканчик, налитый по самый узорчатый поясок. — Меня Мусей звать.

— Само собой.

Руки скрестились, он принагнулся и клюнул губами во что-то твердое, прохладное, чуть раздвоенное на конце... Оказалось — нос.

— Ты ешь, ешь, — по-родственному привязалась она. — Салат вот, "Оливье", а то потом как навалются... Я, как с рожденья чьего домой вернусь, всегда жалею, что мало "Оливье" съела. И простое вроде блюдо, а самое вкусное.

Дмитрий ткнул вилкой раз-другой, но тут увидел пирожки — румяные, как в детстве — и ухватил сразу два. Он жевал пирожки с капустой и вспоминал время, когда любил их. Ничего особенного не вспоминалось. Опять выпил и вдруг нашел себя на диване рядом с раздвоенным носиком. Очнулся на середине рассказа о том, как ушел из университета, потому что на диплом плевать, а главное в жизни — делать что тебе интересно. Она горячо поддакивала: с ней вот точно то же самое, в парфюмерном работает, и все завидуют, потому что запах тонкий и покупатель чистый — дамы, во всем модном и с манерами... А Вовка из галантереи: "Хочешь со мной?" Что ты спрашиваешь, дурак? Это некультурно — спрашивать!.. Ты сам меня угадай!

Пару раз в их дружественном пространстве возникал Сипяга, распаренный, развеселый, с

двумя вставшими дыбом вихрами над запотевшим лбом, пил с Дмитрием, хлопал по бедру Мусю, приговаривая: "Совет да любовь", — и проваливался куда-то... Вдруг надвинулась тишина и некое подобие отрезвления, а вместе с ним — боль. И в комнате тоже — тишина, а потом крик: "Стихов! Стихов!" Первым поднялся Мамин, покладистое лицо его налилось серьезностью, глаза вдохновенно прикрылись, рука по-чапаевски рубанула воздух... Дмитрий заставил себя прислушаться, но слова бились о барабанную перепонку, как тугие дождевые горошины о стекло, и только две строчки протекли внутрь — что-то вроде: "заяц белый, куда бегал?"

Упруго вскочил Сибиряк, застыл на миг, в изнеможении печали смежил веки и поведал дрожащим тенорком, что поэму его не печатают, но вся Москва ее читает и учит на память. Поэма шла кругами, кругами, неумолимо подталкивая брата с сестрой к постели, и, когда прозвучало:

Вилку из розетки  
вытащим — ура!  
Вот тебе конфетка,  
где же ты, сестра?..

Сипягин, выхватив изо рта трубку, заржал:

— Девушка с косами, хошь конфетку с волосами?

Автор обиженно умолк. Сипягин хлопнул себя ладонью по губам и закричал, извиняясь:

— Все — молчок! Это я пословицу вспомнил.

Сибиряку долго и признательно хлопали. Тогда, ужаленный змеей творческой ревности, в аплодисменты вломился Мамин и прочел еще одно стихотворение, где весна сравнивалась с эмалированным бидоном. Ему тоже хлопали, Ленка, при-

севшая на диванный валик рядом с Дмитрием, — вместе со всеми. А потом шепнула:

— Стихи стихами, но они, сиа́мские бесенята, еще и деловой прозой пробавляются. Борьку даже побили в институте. А он: "Лучше стучать, чем перестукиваться".

Мамин, угадав, что речь о нем, сделал издалека ручкой: дескать, принимаю ваши восторги, но зачем уж чересчур уж?.. Толстоносое лицо лучится добротой, а косолапые ноги расставлены поморяцки цепко. Кого же он напоминает? Этой цепкостью. Словно вот-вот подножку подставит... И джинсы в обтяжку... Виктора Модестовича, вот кого! Дмитрий вскочил с дивана — бежать, ну конечно же, бежать к Тане, только увидеть, ничего не спрашивать, не допытываться, не обвинять, только глянуть, а уж он сам с первого взгляда все поймет...

Откуда-то сбоку протянулась неизвестно чья рука с полной стопкой, он выпил, посветлел, протрезвел и вдруг с очевидностью, равной вкусу водки во рту или жирному пятну на рукаве его голубой рубахи, понял, что все подозрения — чушь, бред, Белые Столбы... Имя, имя-то ведь не было названо, а мало ли какие совпадения бывают... Да если даже и Таня — так ведь это тот за ней ухлестывает, а не она... Дубина, шизик слюнявый! Хорош бы ты был, нагрянув со своими подлыми подозрениями...

Опять сделалось тихо, и Мамин, рубя короткой рукой воздух, заявил, что стихи его друга Глеба — переворот в русской поэзии, потому что рифмы "белый-бегал", "бедовый-бидоном" — ассонансные, а Сибиряк задушевно признался, что Борис — явление в современной лирике громоподобное, что он лирик и трагик в одном лице

и что именно ему суждено развенчать ложных ку-миров, променявших служение на службу, ал-тарь — на эстраду, сами понимаете, о ком речь...

Начали их тискать, поздравлять, целовать, осо-бенно Сипягин надрывался:

— Какая честь! Два гения сразу! Удостоили!.. Ленка, тащи лавровый лист — венок плести буду! Собственной рукой!

Тут Мамин царственно прервал его:

— Лавровый лист побереги для себя... Не скромничай, Сипяга. Тень Розанова тебя усынови-ла...

— Эссе, эссе, читай эссе! — поддержал Сибиряк.

Сипягин повертелся, достал из брючного кар-мана пару мятых листов, изготовился читать, но подскочила Ленка и что-то зашептала на ухо.

— Ага, — согласился Сипягин, пряча листки в карман. — Тут нас такое ожидает, братцы... Ру-кописи не горят, а пирог остыть может. Бабка моя кулебяку со своего плеча дарит, так что — на баррикады!

Стол выдвинули на середину, расселись, тес-нясь плечами и локтями, как будто конечностей у всех за истекшее время прибавилось. Сипягин исчез на минуту, а потом ввалился, картинно держа на вытянутых руках поднос с огромной кулебякой в коричневой по бокам треснувшей корочке — из трещин аппетитно выглядывали мясные волокна вперемешку с золотистым лу-ком. Произошло великое ликование, все задви-гались, засуетились, расчищая на столе место для кулебяки и срочно подвигая к себе тарелки, но-жи, вилки...

— От бабки моей, — шумел Сипягин. — А в ее лице — от всей русской, вот именно русской, а не какой-нибудь другой интеллигенции, да будет

земля ей пухом... чтоб не прервалась связь времен... и в гроб сходя, благословил... Выпьем, други, за бабушку мою... кристальной души человек, а в ее лице — за всю русскую интеллигенцию.

Выпили за интеллигенцию. Заели, ахая, кулебякой. Потом возник тост за великую русскую литературу. Выпили и за литературу... А вот этого уже не надо было, по крайней мере, Дмитрию, тем более что водка кончилась и он, не глядя, махнул то ли портвейну, то ли мадеры, не исключено даже, что "Альб-де-Масэ" по рубль десять бутылка. В голове польхнуло, пламя изнутри лизнуло череп, норовя вырваться наружу горлом. Дмитрий поспешно залил его теплым лимонадом. Повалил, застыя глаза, дым, сердце рванулось куда-то к ногам, а когда вернулось на место и дым рассеялся — прямо напротив себя Дмитрий увидел доцента.

Как чертик из коробочки, удивился он и опасно отметил провал во времени — с тошнотой секунды какие-то воевал, а тут, оказывается, новый человек объявился и успел, конечно, поздороваться, перезнакомиться да еще так расположиться, будто за этим столом всегда сидел.

\* \* \*

Стоящий мужик должен быть свиреп и волосат. Сказать "красавец мужчина" — чуть ли не уличить в пошлости. Но — не о доценте...

Слово "русское" — первое, что мелькало при взгляде на его лицо, хотя такие лица — редкость по нынешним временам. Не они наводняют московские улицы, иной люд снует повсюду, юркий, уклончивый. Носы — коротковатые, широкие, сплюснутые, словно норовящие и вовсе стуше-

ваться ("Только с русского лица нос может сбежать — никто и не заметит", — однажды обронила бабка о Гоголе). И скулы татарские, впритык подступающие к талым глазам. И...

Ничего такого в лице доцента не было.

Скупой овал, очень прямой, не длинный, но и не короткий нос, крупные, хорошей лепки губы, жесткий подбородок, серо-голубые прохладные глаза под темными бровями, вместительный лоб с вдумчивой поперечной морщиной, уши изваяны тонко и подробно, как морская раковина, волосы густые, когда-то русые, теперь почти седые... Словом, никакой татаро-монгольщины, но и ничего византийского, иконописного, не лик — а лицо, мужское, красивое и русское.

Русскость эта была как бы условная, поскольку не имела опоры в массовом типе, и вместе с тем безусловная, ибо опиралась на образы, навеянные патриотической историографией. Когда-то, говорят, такие лица преобладали. Но — были и канули. Оттого, быть может, на таком лице часто как бы знак прошлого, уходящего, почти ушедшего. Оттого, быть может, такое лицо рисуется выступающим из артиллерийского дыма и зарева пожарищ, с папиросой в углу презрительных губ, под фуражкой с широким полотняным верхом и офицерским муаровым околышем. Ниже появлялся френч с погонами, крест-накрест перетянутый портупьями, а уж позади френча незримая рука быстро и уверенно набрасывала контуры папах, долгополых шинелей, разинутых неистовым "ура" ртов... Сами собой напрашивались слова "ваше благородие", "корнет", "поручик" и красивая фраза: "Генерал, мои люди устали..." Не помнилось, откуда эта фраза, но стоило ее выговорить, как что-то щекотало и вздраги-

вало в груди, и лицо само собой делалось высоко обреченным... Геройский поручик всех разбитых армий.

Правда, офицерскую голову несколько портила красноватая, жилистая шея, а ниже — хоть и сильное, высокое, но как бы оползающее тело рано ушедшего на покой и с непривычки раздобрившего мастерового.

Дмитрий помнил его с самого своего детства, но и повзрослев, долго еще робел при встречах с загадочным соседом. Занятно: двор окрестил его доцентом задолго до того, как он защитился. Не "профессором" или там "академиком", как чуть ли не всякого очкарика, а именно "доцентом", словно одобряя в нем молодую взрослость, раннюю успешливость. Знал двор о нем немного, но главное: при деньгах, холостой, бабы постоянной не имеет, студентки-дурехи так и вьются, выпивает и хоть интеллигент, а все не такой жид, как эта надменная змея, бабка сипягинская...

В последний год Сипягин зачастил к доценту, был от него в восторге и Дмитрия отчасти заразил. Когда бы не доцентовая книга "Античное наследие и русская литература" — подарок Сипягину, с надписью:

Античное наследие —  
не более чем средство  
на нечто намекнуть  
и нечто подчеркнуть.  
Намек, урок, кивок,  
упрек, укор, пинок...

Что ни страница — "механизмы трагического", "диалогическая структура", "гносеологическая модель", но ни намеков, ни тем более пинков Дмитрий в ней не обнаружил и наивно поперся



к автору с вопросами и почтительным скепсисом. Доцент едва сидел на стуле, пьяный в дым. Полуденное солнце, пронзая линиялый атлас бордовых штор, бросало на его лицо кровавый отблеск как бы далеких пожарищ. Он, кажется, даже не понял, о какой книге речь. Пришлось ретироваться не солоно хлебавши — осталась усмешечка разочарования с примесью досады.

Но сейчас, непонятно почему, Дмитрий обрадовался доценту несказанно и совсем по-старому, по-щенячьи заробел.

\* \* \*

Доцент, подняв непечатую бутылку водки, видимо им и принесенную, холодно и ласково смотрел на Дмитрия.

— Ну что, Дмитрий Николаевич, пьем?

— Пьем, Сергей Александрович, — с радостной готовностью откликнулся Дмитрий. И выпил. Желудок судорожно дернулся, однако смирился... Водка все-таки пошла, хотя вопрос о том, пошла ли она верным путем, мог решиться только в будущем, судя по всему — недалеко...

Дмитрий вдохнул, выдохнул и лишь после этого осмыслил, что против него сидит не один доцент: все остальные тоже расположились по ту сторону стола — от доцента влево — и, вытянув шеи, приглядывались и прислушивались к протеканию водки по пищеводу Сергея Александровича. Рядом с доцентом сидела Муся, не сводя глаз с офицерского профиля — толстенькая щечка по-деревенски подперта ладонью. Вывернув шею, выглядывал из-за ее плеча Сипягин, дальше, так же повернутые, — Сибиряк с Маминым, еще дальше — безымянные девицы, а во главе стола —

одинокая, что-то шепчущая Ленка. С правой же от доцента стороны было пусто, только мигали, оплывали и потрескивали составленные вместе свечи — майонезные баночки узорно обросли стеариновыми подтеками. Правда, в углу, где неуверенно, тоже как будто оплывающая и потрескивающая, горел торшер, чья-то неучтенная тень вроде бы пересекала розовое пятно на стене, но не было сил ни всмотреться, ни прикинуть, кто бы это мог там копошиться, если все, сколько ни есть тут людей, — за столом...

— А вы закусите, Дмитрий Николаевич, закусите, — чуть ли не пропел Сергей Александрович, и Муся, встrepенувшись, кинулась накладывать доценту салат "Оливье". Остальные дружно уставились на Дмитрия — наблюдать, как он будет закусывать.

Дмитрий, поискав глазами, облюбовал банку с горлом пошире, полез вилкой и, стуча по стеклянным бокам, вонзил ее во что-то зеленое и скользкое, быстро дернул вилку к себе, как удочку с долгожданным уловом, но, сбитый с толку напряженным вниманием окружающих, дрогнул — огурец сорвался и шлепнулся под стол. Все облегченно зашевелились, как при благополучном завершении опасного циркового номера, а Дмитрий, отодвинув табурет, нагнулся — пошарить под столом, — но потерял равновесие и плюхнулся на четвереньки.

Под столом было сумрачно, уютно и пахло сеledкой. Перед самым носом его стояли четыре ноги, то есть две пары, из которых одна, несомненно, принадлежала доценту, а другая, несомненно, женщине, чего быть никак не могло, то есть не то что не могло быть женских ног, а вообще никаких ног, поскольку располагались они

от доцента справа, где, он это точно помнил, не было ничего, в смысле — никого... А между тем, попирая эту невозможность, — две упругие, сильные белые ноги, обнаженные так высоко, что продолжить их должно бы тоже обнаженное тело... Ясное дело, пока не отгадает, чьи это ноги, из-под стола вылезать стыдно. Он затаился, но тут белая туфелька оторвалась от пола, резко качнулась, одна нога стала наползать, запрокидываться на другую и по дороге ощутимо проехала по его лицу... Сверху ойкнуло, край скатерти начал приподниматься... Под всеобщий мерзкий хохот Дмитрий выполз из-под стола и осел на кем-то заботливо подставленный табурет.

То, что рядом с доцентом (понятно, справа) оказалась незнакомая женщина, уже не удивило его. Поразительным было другое: броскость ее красоты... А улыбка немножко как у Тани... Кровь жарко ударила в голову, кислая волна подкатила к горлу...

— Вот, Натали, рекомендую... Один из наших взыскующих молодых людей... Очень милый, как, впрочем, и все вообще взыскующие молодые люди, — лениво тянул доцент, повернувшись всем корпусом к соседке.

Дмитрий не сразу догадался, что речь о нем, но Натали, покивав ему большим, белым вкусным лицом, протянула через стол длинную, красивую и тоже какую-то удивительно вкусную руку: — Натали.

Дмитрий пожал горячую крепкую ладонь и пробормотал смущенно:

— Очень приятно... Дмитрий... Я сейчас...

Стукнувшись плечом о дверной косяк, он вышел в коридор. Последняя ясная мысль перед рвотной лавиной была про Натали, что имя это

к ней так же не идет, как какая-нибудь "гносеологическая модель" — к Достоевскому... К чему, ну к чему все эти выверты?.. Наташа она, а никакая не Натали...

## ЗАСТОЛЬЕ — ЧАСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, С МОРДОБОЕМ

Полегчало. Не очень, но все же полегчало. Хотя в черепе — ломота, в ногах — дрожь... Без него опять все переиначилось: за столом пусто, зато в углу тесно — кто на диване, кто на полу, Сипягин на низенькой скамеечке, под самым торшером. Розовая, елочная подсветка делала из него пухлого гнома-переростка, озабоченного, нахохлившегося, настороженного. Он глянул на Дмитрия злобно, зато остальные — с тайной надеждой, которая при внезапной помехе посещает втянутых в докуку чужих творческих горений.

— Надеюсь, можно продолжить, — деланно бодрым голосом не столько спросил, сколько возвестил Сипягин. И поднес листок к глазам:

— "...жирком заплывшая белесая груша за да...". Нет, это уже было... Ага, вот оно!

"Ты раздвинешь ноги поудобней, присядешь слегка, и я увижу явственно, как глаза портретных мужей заискрятся бессильной завистью.

А потом мы войдем в чулан твоей бабки, где иконы и лампы. Ты тихо преклонишь колени и, чмокая мокрыми губами, вновь вдохнешь жизнь в мою увядшую плоть.

Это ли не чудо вечного воскресения к жизни?

И были проповеди, и горячий всплеск надежд в молитвенных глазах, и призывные трубы в ковыльных степях, и дробный топот героических конниц...

Все мимо... мимо... Прижмись ко мне горячей, не смущайся их кощунственных подглядываний, морганий, гримас...".

— Все, — Сипягин опустил отчитанный листок на ковер. — Аплодисменты, лавры и прочие изъявления восторга потом... Сейчас передых от художественных переживаний, опосля перейдем ко второй, так сказать, картинке.

Все избегали смотреть друг другу в глаза, усиленно предаваясь разнообразным занятиям: одна из безымянных девиц стала поправлять абажур и таки перекосила его; Мамин запустил руку в патлы и ерошил их как бы вдохновенно; Сибиряк, тоже как бы вдохновенно, строчил что-то на бумажной салфетке — может, стихи, может, деловые наблюдения...

Наташа отчаянно взглянула на Дмитрия, потом, запрокинув к доценту голову так, что напрыглась ее высокая крутая шея, шепнула:

— А, Сергей Александрович, какво? Не то новый Ипполит, не то старина Лебядкин...

Доцент не отводил холодного взгляда от сипягинского лица.

— Фердыщенко, Натали, — тихо и быстро проговорил он. — Но после, после.

Сипягин отпил лимонаду и откашлялся.

— Ну-с, переходим к обещанной картинке.

"И летний вечер, теплый, как болотная вода.

Я люблю, когда ни ветерка. Все разошлись наконец, остатки табачных дымов уплывают в двери веранды, в черный сад. Чуть подрагивают

язычки свечей на трюмо, рядом со шкатулкой, доверху набитой золотыми кольцами — плодами последней реквизиции.

...Дверь, где укутанный кумачом гроб, приотворена, и влажные всхлипы доносятся... Хочется плакать. Какой человек ушел!

И входишь ты, его верная боевая подруга — такая вся заплаканная, такая вся хрупкая в траурной накидке... Ты приникаешь ко мне, вздрагивая от слез. Из-за твоей спины руку протянув тихонько, шкатулку приоткрыв, цепляю пригоршню колец и бережно опускаю их в карман, думая о том, как, в сущности, прекрасно умереть вовремя, сойти со сцены под клики трудящихся. И мне жаль тебя еще пронзительней, я обнимаю тебя все крепче, пока рука невольно не соскальзывает на твои податливые бедра...

Покойник вдруг приподнимается в гробу, выкатив налитые розовой кровью глаза. Но мне нельзя спугнуть тебя, и потому я не выкрикиваю, но лишь шепчу:

— Пролетарии всех стран, совокупляйтесь!

И он, зубами скрежетнув, валится навзничь — в гроб и бледной рукой поправляет, разглаживает кумачовый саван, чтобы все стало, как было”.

Слетел на ковер еще листок.

— Я приговора жду, я жду решенья, — нарочитым козлетоном пропел Сипягин. — Отклики трудящихся в письменном виде не принимаются...

И обвел всех трезвым, заранее ненавидящим взглядом.

Как по команде повернулись головы к доценту. Сергей Александрович осторожно освободил плечо от сомлевшей на нем Муси, встал, прошел-

ся, разминаясь, по комнате, прикурил папиросу от свечного огарка и сказал спокойно:

— Я, признаться, тугодум... Так что давайте сперва кто побойчее.

Понимая, что не отвертеться, Мамин с Сибиряком обреченно заерзали и хором сказали:

— Я думаю, что...

Переждав смех, надорванным голосом продолжал Мамин:

— Я думаю, Сипяга, что эссе — среднегениальны. Ты пошел по пути розановской откровенности, но сбился на риторику Леонида Андреева. И не учел, что оба несколько устарели. Тебя подвел рационализм. А в наше время единственно возможный тип мышления — это "сюр". "Сюра" не получилось... Твое сознание надо расшатать в сторону ассоциативности, — победоносно закончил Мамин и преданно поглядел на Сергея Александровича.

Тот одобрительно кивнул: мол, вполне ничего, на твердую "четверку".

— Я в основном согласен с Борисом, — деловито начал Сибиряк. — Но я поэт, и меня интересует главным образом звуковая организация материала... Ну, прежде всего досадное изобилие согласных, особенно т, д и, кажется, ц... Ты же понимаешь, я со слуха сужу... Потом этот образ: "белесая груша зада"... Он не кажется мне убедительным. Зад может быть белым, ну, там розовым или смуглым, но — белесый?.. Не вижу, повисает в воздухе. А также сравнение груши с задом, то есть, я хотел сказать — зада с грушей... Конечно, образ творит свою независимую реальность, как это замечательно показал в своей книге Сергей Александрович, но все же какая-то соотнесенность с объектом... Короче, объект



имеет право быть узанным, то есть я хочу сказать: не бывает груши... в смысле — зада... — окончательно запутался багровый Сибиряк под раскаты веселого хохота.

Заливались девицы, подталкивая друг друга локтями, хихикала Муся, приговаривая: "Ой, умру!", изнемогала Наташа, но больше всех — Мамин, окрыленный провалом друга, и Сипягин, сквозь хохот восклицавший:

— А вот и бывает! А вот и бывает! Хочешь, покажу?..

Только Ленка мученически закусила губу, молчал Дмитрий ("все-таки день рождения, могли бы и помягче с Сипягой"), и не улыбнулся доцент.

Заметив это, мгновенно утих Мамин, откашлялся, стал серьезным.

— Сергей Александрович, ваш черед.

— Анатолий Васильевич... — мягко и серьезно начал доцент.

Он сидел у стола, время от времени отпивая из граненого стакана, словно там не водка была, а вода. Сипягин выпрямился, скоморошьи морщины исчезли — его лицо со всей серьезностью воспроизвело серьезность интонации доцента.

— Я бы с удовольствием сделал вам подарок, особенно в день рождения. Но... простите великодушно. К тому же и тема обязывает. Стилистику, образность и так далее ваших... этюдов я оценивать не берусь. Не в том соль, не в том изъян... А в том, что иным литературам стилевые изыски — пропуск в писательское звание. Но не у нас. Если в графе "национальные святыни" прочерк — это не литература, а шелкоперство... Изъян национального в нашей породе есть одновременно порок человеческий, так уж мы

сложены... А порочная русская литература немислима, ибо она есть храм нашего духа. Какой же порок во храме?.. А вы, Анатолий Васильевич, покусились — простите мне это глупейшее слово, но точнее не найти, — вы покусились сразу на две национальные святыни — церковь и партию, причем покусились как на нечто взаимоблизкое, сопряженное. Что очень и очень верно... Эта сопряженность... Я не в партии. Тому разные причины — вероятно, уязвимые: по уши в науке сижу и так далее... В общем, не состою. И несогласие себе позволяю — где экивоками, где почти прямо... Но — оплевывать?! Формально не состою, однако душой, умом — да. А знаете почему? Потому что все мои предки, сколько их можно просчитать и упомнить, были православные. Мы — православный, соборный народ, Анатолий Васильевич, а это в переводе на газетный язык и будет "коллективизм". Мы — природные коллективисты, соборяне... Русский человек робок сердцем, боится греха, ищет теплоты, близости, поддержки в другой душе. Мы жмемся, прижимаемся друг к другу, мы — в духе — друг друга хотим. Это церковь, но это и партия... Розанов, родство с которым вам щедро приписали, очень глубоко сказал: "Каждому народу душа дается одна и сразу на всю историю". И душа наша не изменилась: одна у нас церковь, одна партия — какая уж есть, в меру наших грехов и достоинств. Все, что вне ее, — секта, убожество, дешевое отщепенство... Отъединенности же ни один из нас не выдержит, не обольщайтесь. Да и куда вам податься? На Запад, что ли?.. Один пророк их нынешний изрек: "Ад — это другие". Вдумайтесь только: где кончается мое "я" — начинается ад, то есть непонимание, холод, от-

чуждение. Наше ли это?.. Вот мы тут пару часов вместе, надышали, наговорили, сроднились, и уже как бы новое существо от нашей совместности родилось... Назовите это атмосферой, общим настроением, духом — все равно неточно в понятии, но неоспоримо в ощущении.

Или пролетарии... Вы вот проехались. Так сегодня все человечество, культурное человечество, опролетарилось, работа — основа культурного бытия. Сегодня только негры не пролетарии — живут на социальное пособие...

Наташа давно уже сидела рядом с Сергеем Александровичем — закинув ногу на ногу, упираясь локтем в высоко поднятое колено, курила длинную сигарету. Сейчас еще более бросалось, как они с доцентом вместе и совсем отдельно от других. И внешне схожи: оба — высокие, сильные, с восхитительно небрежной повадкой уверенных в своей особости людей. Но и еще что-то — некое единство душевного ритма, что ли. На слова доцента Наташа откликалась не согласными кивками, а как бы внутренним наклоном в его сторону всего своего существа. То была не восторженная преданность ученицы, а полнота понимания, возможная только у соучастника и соавтора.

— Разве вас не страшит вырождение русской души? — продолжал Сергей Александрович. — Усыхание совести?.. Столько крови, слез пролито. Неужели ради того, чтобы разрешиться жалким канканом демократии? Не-ет... Только мессианский марксизм вкупе с православием дают великую цель и оправдание...

Дмитрий вяло усмехнулся: Веру бы Никандровну сюда — уж она бы не смолчала... И все же брезжило в словах доцента какое-то обещание

смысла, исхода, примирения. Может, все еще обойдется, образуется как-нибудь, в полузабытьи надеялся он, вкладывая в это "все" и разлад с Таней, который вдруг прояснится, обернется ерундой, и примирительную улыбку на лице Веры Никандровны, и отцов лагерь, чтобы его совсем не было в прошлом или хотя бы уж не зазря...

Он не заметил, как вступила Наташа.

— ...родители — русские эмигранты. Родилась в Париже, пишет, ее очень читают, русский знает великолепно, кое-что перевела — того же Розанова, например... Я провожала ее в Шереметьево. Господи! Если бы вы видели, как она плакала, как не хотела уезжать!.. Знаете, что ее больше всего поразило?.. Лекции Сергея Александровича и коммуналки. Да, да, наши единственные в мире, проклятые "вороньи слободки". Полина — пожилой одинокий человек, очень одинокий, несмотря на свою известность. Ее книга — об одиноких в Париже, не только о стариках, о молодых тоже, об отчаянии, заброшенности.

Я тоже в коммуналке, хотя у меня две комнаты. Полина исхитрилась как-то с гостиничной администрацией — жила три дня у меня, перезнакомилась с соседями, с кем я годами не разговариваю, чуть встанет и — на кухню. Скольких парижан, говорит, коммуналка спасла бы от петли, яда, прыжка в окно... Разумеется, она понимает, что коммуналки от нехватки жилплощади, короче — от бедности нашей. Но причины — одно, а следствия — другое.

— Что же, по-вашему, кооперативы строить не нужно? — враждебно перебила Ленка.

Наташа добродушно рассмеялась:

— Как не нужно? Конечно, нужно. Я и сама в кооператив собираюсь и заранее знаю, что буду

тосковать по своей коммуналке, но — перееду, как вот Полина в Шереметьево рыдала-рыдала, а все-таки улетела в свой одинокий Париж.

— А я не понимаю, зачем переводить Розанова, если у них есть Валери, — нахально вставился Сибиряк. Похоже, что в отместку за провал он ушел в оппозицию.

— Затем и нужно, что у них Валери. Видите ли, я думаю, что в русском смысле Валери не вполне писатель. Он — эссеист... Розанов — русский писатель, а Валери — французский эссеист. Знаете, кто такой Валери? Это... это "Голова профессора Доуэля", голый интеллект, отрезанный от тела, чувств, души... Он не пишет стихи или прозу, а производит математические операции со словами и понятиями... Мне не хочется сейчас впадать в литературоведение, а то можно бы столкнуть характерные тексты Розанова и Валери. Это как шок, как пелена с глаз: такой один — сама русскость и другой — сам Запад. И вместе им не сойтись. Не видеть, не понимать этого?.. Не представляю, как это можно. Знаете, что Валери сказал о поэзии?.. Минуточку, как это поточнее перевести?.. Ну, пожалуй, так: "Поэзия интересует меня лишь в той мере, в какой она учит разум некоторым преобразованиям". Нет, даже не "преобразованиям", есть такой специальный математический термин... Ага: "преобразованиям". Вот. Подумайте, ведь если он прав, Есенин — не поэт. Смешно, правда?..

— А что про лекции? — из-под торшера подал голос Сипягин. Он опять сделался весел, даже как будто хмелен, хотя, кроме доцента, давно уже никто не пил. Скоморошья ухмылка морщила его лицо. — Вы сказали: Полина эта Виардо

в отпаде от коммуналок и лекций Сергея Александровича.

— Ну, что столько народу... Говорит: "Как в Сорбонне... когда студенты бьют стекла и профессоров". Известно, они там с жиру и личность заявить, но и — протест против засилья так называемой буржуазной культуры, гуманитарной, по преимуществу. Полина говорит: "Вы — последний оплот культуры". А про сами лекции Сергея Александровича...

— Хватит, Натали, хватит, — перебил доцент, чуть притянув ее к себе за плечи. — Иллюстративный материал не должен затемнять идею. Вы немало потрудились сегодня на русской ниве и не только убеждали, но и побеждали своим обаянием. Чего же еще?.. А вот я в качестве учителя жизни и проповедника соборности отступаю от ее духа, ибо пью один, что негоже, поскольку водочный дух — суть дух соединяющий... Выпьем, господа-товарищи!.. Дорога в ад индивидуализма вымощена трезвостью.

— Выпьем, выпьем! — подхватил Сипягин, срываясь с места. — И закусим! Чего там?! Одна живем!

Лениво потянулись к столу, только Муся так и осталась на диване — спала, посапывая, как простуженный ребенок.

— Пусть ее, — радовался Сипягин, — нам больше достанется. Она у нас известная выпивоха... Соборница этакая.

Но доцент заупрямился, присел на диван и, осторожно дергая круглую розовую пятку, приговаривал:

— Мари, ну же, Мари, пробудитесь... спать и дома можно...

Налили и раз, и другой, но прежнего веселья

уже не выходило. Пили молча, закусьвали вяло. Наконец догадались включить проигрыватель: Ленка ожила, вытащила Сипягина из-за стола, обмякла у него на шее, влипли в девиц Мамин с Сибиряком — три пары затоптались на месте в обморочном ритме "Брызг шампанского". Доцент целиком ушел в какие-то сложности о жизни и чувствах с хохочущей Мусей и все подливал и подливал водки себе и ей. Наташа протянула рюмку Дмитрию:

— Плесните.

И тут же:

— Еще.

Доцент оторвался от Муси:

— Хватит, Натали... Пить вы все равно не умеете. Напьетесь и будете, как в прошлый раз, требовать увезти вас в Переделкино — похоронить рядом с Пастернаком.

— Не буду... На эту ночь у меня другие планы.

— Знаю я ваши планы... Не выйдет.

— Почему?

Они сидели, выпрямив спины, оба неестественно бледные. Что-то решительное происходило между ними. Дмитрий дернулся — встать, но все поплыло перед глазами. Они не стесняются, чего же мне-то трепыхаться, успокаивал он себя, завороченно не отрывая от них глаз.

— Послушайте, Натали, — начал доцент — мягко, почти нежно, — вы знаете, как я ценю вас, восхищаюсь, дорожу возможностью с вами работать. Но любить вас так, как вы хотите, как вы привыкли, как вас любят ваши бесчисленные кобели, так я вас любить не могу, не хочу и не буду.

— Почему? — голос ледяной, но губы приметно вздрагивали.

— Да потому, что я, дружок вы мой, антисе-

мит... Не знали?.. Причем идейный, спиритуальный, а не погромный, то есть — эротический. Меня еврейки попросту не возбуждают. А если вам так уж приспичило насчет русского хуя, мигните Сипягину — весь вечер на вас облизывается... Простая душа, и антисемитизм у него простой, здоровый, так что все изысканные погромные радости, сублимированные в эротику, испытаете. Насилие... ненависть... позор и сладость оргазма... И все прочее, что вашему национальному мазохизму угодно.

— Почему вы решили, что Сипягин антисемит? — в глазах лед, но губы не слушались, прыгали...

— Да потому, что он не еврей, Натали. Понимаете? Н е е в р е й .

— А Дмитрий? Тоже антисемит?

Доцент посмотрел через плечо на оцепеневшего Дмитрия, прищурился оценивающе, отвел холодный взгляд и улыбнулся.

— Конечно. Только он об этом еще не знает.

Судорожно всхлипнув, Наташа взмахнула рукой — голова доцента дернулась. И в ту же секунду, не колеблясь, даже не сменив выражения лица, доцент ответил — со всего маху, всей ладонью, так что удар тяжело распластался по щеке.

Вскрикнула Муся... Наташа медленно кренилась со стула — на пол. Выхрипывая что-то пещерное, ослепший от яростных слез, Дмитрий перегнулся через стол, валя грудью бутылки, рюмки, баночки со свечными огарками. Он вцепился в жесткий ворот доцентово́й рубахи, тащил его к себе, пока чуть не уперся лбом в белое, без единой кровинки лицо и увидел — вровень со своими глазами — пустые глаза мертвецки пьяного человека... Руки сами собой разжались, но тут



сзади насел Сипягин, выворачивая локти и крича дурным голосом: "Не смей! Не трожь!.." Дмитрий рванулся — хоть ему дать в морду, но не устоял и повалился на пол, прихватив с собой и Сипягина.

Стучали в стенку соседи, орал Сибиряк:

— Да остановите вы этот проигрыватель чертов! — как будто сам не мог остановить... И — продолжало стонать довоенное танго. Одна Ленка была спокойна, словно ничего другого и не ожидала:

— Вот тебе и соборность, — устало подытожила. — Надышали, родили...

— Да плюнь ты, — по-родственному обняв Наташу, утешала Муся. — Мне бы такую наружность... Мужики, все они суки. Плюнь, он же пьяный в дупу... Ты и на еврейку-то ни капли не похожа...

В дверях, опираясь на клюку, стояла бабка.

— Спокойной ночи, Вера Никандровна, — сказал Дмитрий.

В парадном было темно, щелкнула за спиной дверь, смахнув со ступенек длинную его тень, гармошкой...

\* \* \*

Нерешительно, с паузами накрапывал дождик, и воздух как будто припахивал парным молоком. Со стороны Калининского доносились шумы, резиновые шорохи, гудение, но переулочек спал при свете двух хилых ламп под конусами колпаков. На мокрые крыши просеивалось фиолетовое московское марево.

Обманчивая легкость расплзлась от головы

по телу, а когда доползла до ног, Дмитрий присел на скамейку у парадного.

Хорошо бы пожилой попался, думал он о таксисте. А нет, так придется проводить ее — в истерике и нетрезвая... И сразу к Тане. Где бы такси поймать? У "Праги"?..

Брюки, вобрав влажность скамейки, неприятно холодили. Он прислушивался, когда хлопнет дверь, но тихо было в доме, только светились мирным светом два окна: зеленоватое — Сипягиных, угловое, розовое — Ленкино.

Ваше благородие... генерал, мои люди устали... кристальной души интеллигенция... упился, как жлоб — и по лицу... женщину...

Хлопнула дверь. Он вскочил, шагнул к парадному. Шарканье, перезвон ключей, опять хлопнула дверь — другая... Ага, это Сипягин бабку выпроводил, значит, сейчас — Наташа... Но тут поползла складчатая занавеска — пятно света на асфальте ужалось, впустив чью-то тень.

— А на улице дождик, — донесся голос Наташи, спокойный, разве что осипший немного. И — глуше, отходя от окна:

— Чаю?.. Ну, если с клубничным вареньем, тогда конечно...

Яростная и трезвая злоба качнула Дмитрия.

Так, значит?.. Все-таки я кругом идиот!.. Милые бранятся — только тешатся. Все они...

Да я-то с чего так хлопочу? — остановил он себя. Пропади они пропадом!..

\* \* \*

Вестибюль общежития тускло светился, но дверь, как водится, на замке. Дмитрий позвонил — комендантша в кресле даже не шелохну-

лась, он постучал согнутым пальцем в стекло, потом громче — ладонью по дверной раме и, уже не владея собой, — ногой. Свет стал ярче, к стеклу на миг прижалось оплывшее бабье лицо, дверь приоткрылась, натянув цепочку.

— Таню, — взмолился Дмитрий. — Из двенадцатой комнаты. Пожалуйста... Очень важно.

— Каку таку Таню? Я тебе милицию сейчас заместо Тани позову... Ишь, ханыга, так перегаром и разит, — с механической ненавистью сказала та, но, захлопнув дверь, словно включила другую кнопку — лицо ее опять расплылось в сонно-добродушное.

Дмитрий топтался перед входом, растерянно озираясь. Если он сейчас, сию минуту не увидит Таню, произойдет ужасное, непоправимое... Поднял глаза — Танино окно еще светилось... Задержанное тучами небо стремительно планировало вниз, тяжелые капли, учащаясь, зашлепали о тротуар.

Подкатило такси — две плотные фигуры, приплюснутые клетчатými кепками-”аэродромами”, вразвалочку направились к двери. Черные маслянистые глаза скользнули по Дмитрию без интереса. Звонок прозвучал не как попало, а: две точки, тире, точка. Комендантша тут же выдвинулась из-за стола.

— Пожалуйста, — сказал Дмитрий обоим сразу. — Меня не пускают... Таня из двенадцатой комнаты. Второй этаж... Очень прошу. Таня.

Они по-хозяйски прошагали мимо стола, к лестнице. И снова — сонная одурь за дверным стеклом.

Скажут они, как же... грызуны!.. Тоже заплатить ей? Но как? — маялся Дмитрий. Но тут сковавшая вестибюль тоска разом схлынула — на

верхних ступенях полутемной лестницы появились быстрые ноги в тапочках, зеленый Танин халат — колени нервно бились о его подол изнутри, — и вот уже вся она — глаза тревожно высматривают, кто там за стеклом, левая щека розовая — значит, спала... Приоткрыв дверь, весело удивилась:

— Ой, дождь какой! Ты же промок совсем... Есть мелочь какая-нибудь?

Дмитрий протянул трешку.

— Да ты что? И рубля хватит.

Она отошла, склонилась над столом комендантши — та кивнула.

— Что случилось, Митя? Ну?.. Что с тобой? Ночь уже...

Что она так высматривает? Глаза мечутся...

И снова, отменяя накопленную ожиданием нежность, взметнулось подозрение. Хотел начать издали — о том, о сем, об экзаменах... Прокашлялся, но голоса не было. Он снова откашлялся и — как головой в прорубь:

— Я все знаю...

Ее лицо дрогнуло: а что такого?.. он с физикой помог... завалила, а он пересдачу устроил... думаешь, это просто?.. видел бы ты физичку — старая крыса, всем хорошеньким отметки занижает... Ну, и что было бы? Со мной, с нами, с нашими летними планами?..

— Да не в физике дело! — мучился Дмитрий. — Не крути... Если уж он о женитьбе говорит, то...

Она не рассмеялась. Он был уверен, что рассмеется: "Жениться?.. Он?.. На мне?! Ой, не могу!" И заранее боялся фальшивой беззаботности этого вскрика, но она молчала, опустив глаза. Хуже было некуда и уже наобум:

— Я знаю: ты была у него!

Не для того, чтобы выведать, а пусть бы хоть это опровергла.

— Да, была! Ну и что?.. Не ты ведь, а он устроил с физикой. И пригласил в ресторан. Отказаться, по-твоему?..

— Но ты же, — упал духом Дмитрий, — сперва сказала, что была у него, а теперь — ресторан... Значит, после ресторана?

Она яростно замотала головой.

— Тогда почему сразу не сказала про ресторан? Значит, еще что-то было...

— Нет, — тихо сказала Таня. — Только ресторан, — и заплакала. — Боже, Митя!.. Ну, что мы с собой делаем?! Хочешь, я позвоню ему? Хочешь? Хочешь?

И бегом потащила его к выходу, где в закутке у двери висел телефон. Из трубки, там, где положено быть мембране, торчал обломок палки...

— Слушай, дай еще рубль.

Комендантша смотрела с любопытством. Приняв рублевку, подвинула телефон.

— Виктор Модестович? Это Таня, — тоненьким вдруг голосом. — Извините, что так поздно. Нет, ничего не случилось. Просто я не могу больше встречаться с вами... Спасибо за помощь... Нет, ничего такого, но Дмитрий против... Да... Нет... Спасибо, — она с маху опустила трубку, как припечатала. Комендантша зло сузила глаза: не дома, чтобы трубкой брякать.

— Извините, — бросила Таня.

И — Дмитрию, победно:

— Ну? Видишь?

## ПЯТЬ ЛЕТ – НЕ ВЕЧНОСТЬ

Дождливый июнь близился к концу, а с отпуском все еще неясно: дадут-не дадут? Но они уже прикидывали, чего, где и сколько купить. Главное, сараюшку какую-нибудь снять, пусть даже не у самого моря... И Таня, вся такая сияющая, тут же — с морщинкой меж бровями: денег мало... Но он отмахивался: достану еще пару сотен, не проблема. Вот с отцом — совестно. Но ничего — соседка обещала присмотреть.

Расстались около двенадцати. И, едва Таня исчезла в дверях, из соседнего подъезда выступили двое.

— Закурить не найдется? — миролюбиво спросил широкий, в пиджаке внакидку.

Дмитрий развел руками, извиняясь:

— Не курю.

Мелькнуло с потугой на юмор: какая детективная классика...

— Слушай, земля, — зашел с другого бока тот, что помельче, с лисьей мордочкой, — трояк подзарез нужен, — он нервно дернул щекой. —

Часики не возьмешь? За троячок. А то зажигалку серебряную?

— Спасибо, не нуждаюсь.

— Да ты не кипятись, мужик, — уговаривал широкий, с железными зубами, хотя Дмитрий вовсе не кипятился, а всего лишь поглядывал по сторонам, прикидывая, будет ли помощь, если что. — Ты примерь сперва.

А юркий уже вцепился в локоть, пристраивал часы к запястью, впритык к "Веге", и цокал языком от восхищения. Дмитрий выдернул руку и сшагнул с тротуара.

— Ты смотри, коза!.. Она еще выступает тут! — удивился широкий и смачно харкнул Дмитрию под ноги. — Хрен с ним — не хочет, не надо.

Уже отойдя с десятков шагов, оглянувшись, увидел язычок спички, склоненность двух голов над ней и потом — тление сигарет. Проверая, вскинул руку с часами — на месте!..

\* \* \*

Еще на эскалаторе, на самом спуске, кольнули пристальные глаза — внизу, задрав большое мучнисто-белое лицо, стояла кургузая тетка. Рядом скучал развалистый милиционер. Дмитрий оглянулся, ища, кого они высматривают. Но сзади — пусто. Вдруг пронзило, что это не зря — по его душу. Почему, с какой стати?.. Тетка не спускала с него глаз, вот уже напряглась ее жилистая шея...

— Бандит! — выкрикнул, как плюнул, щербатый рот, едва Дмитрия вынесло на твердое. — Сволочь!.. Где сумка?! Убивать таких, как волков!

Под правым ее глазом наливался свежий синяк, ниже сочилась глубокая царапина.

— Пройдемте, — надвинулся милиционер.

— А в чем дело? — машинально спросил Дмитрий. Можно было и не спрашивать: как во сне, с беспощадной точностью надвигалась неизбежная, немислимая беда.

— Козел фашистский, — заходила баба. — Стрелять таких на мелкие кусочки!

— Заткнитесь, гражданочка, — лениво сказал милиционер и взял Дмитрия за локоть. — Разберемся...

Какая-то невидная дверца, утопленная в стенную нишу, — всю жизнь спешишь мимо без вопроса: что там? Не пригнув головы, не пройти. За квадратным столом, ссутулив щуплую спину, лейтенант — нижняя пухлая губа прикушена, глаза напряженные, словно блоху на столе высматривают. На шахматной доске — овал зеленой суконки, как лужайка, с белой церквушкой в центре, высокой, с карандаш. Луковица желтая, под золото, но пока без креста — тот уже нависал, зажатый пинцетом, над луковицей, когда рука лейтенанта дрогнула.

— Ну? — он кисло сморщился.

— Вот, — сержант подтолкнул Дмитрия к столу. — Ограбил вроде, — и кивнул на бабу, как включил: та с новой силой завизжала про сумку.

Лейтенант аккуратно прислонил крестик к горке разноцветных спичек на церковном дворе, бережно сместил шахматную доску в дальний угол стола, придал глазам пронизательность:

— Выкладывай, что в карманах.

Обрывки гневных выкриков клубились в горле, но не визжать же, как эта баба... Он скинул пиджак, протянул его сержанту и вывернул карманы брюк.

— Ключи, — бормотал сержант, обшаривая



пиджак. — Деньги, пять рублей, и двугривенный еще. Твои? — обернулся он к бабе. Та покачала головой. — Записная книжка... платок, кошелек...

— Он! — баба подхватила со стула. — Мой и есть!.. А сумка где, паразит?

— Та-а-ак, — лейтенант снова впился в Дмитрия.

На плечи навалилась страшная тяжесть, сестры бы, хоть на пол... Что-то мучительно проворачивалось в голове, какая-то догадка — если бы не этот визг...

— Сядьте, гражданка, — урезонивал лейтенант, но та не унималась.

— Сядь, курва! — рявкнул сержант и толкнул ее на стул. — Говори, что там было.

— Рупь шестя две: рублевка, шесть гривен и двушка, подкладка порвата... еще билет метрошный, — отрапортовала та на зубок и заплакала, прикрыв лицо руками.

Сержант вывернул кошелек на стол — звякнули монеты.

— Совпадает, — скучно сказал лейтенант. — И билетик на месте.

Из ее выкриков, всхлипов и сморкания выходило, что Дмитрий наскочил в темном переулке, выхватил сумочку, она закричала, и тогда он врезал — вот и синяк под глазом, а про царапину она не помнит, может, и еще попал, да в горячке не заметила. Она — в метро, в милицию...

Отбросив задом стул, лейтенант вскочил, хрястнул ладонью по столу:

— Где сумка?

— Не кричите, — устало сказал Дмитрий. — Я ее впервые вижу, эту... жертву. А кошелек мне подсунули. Двое...

Сержант заржал, а лейтенант, обогнув стол, подошел, покачался с носков на пятки, презрительно сощурился и вдруг ткнул Дмитрия кулаком под ребро:

— Я б тебя, падла!.. Звони в КПЗ, — приказал он сержанту. — Составь протокол, а эта пусть идет. Адрес ее спиши только.

Он вернулся за стол, придвинул шахматную доску и, зажав пинцетом золотистый крестик, навис над церковной луковкой.

\* \* \*

Грудастая молодуха в новеньких капитанских погонах на пухлом покате плеч даже глаза закрыла от досады и скуки.

— Ну, хорош! Я с тобой по-доброму, а ты... Учти: упруешься на суде — впаяют по самое некуда... Последний раз говорю: выкладывай, как было.

— Я вам уже неделю твержу, как было...

— Раздолбай! Ни украсть, ни покараулить!.. И соврать-то не умеешь по-человечески, — перекинув накрашенные губы, она склонилась над протоколом. — Я тебе — как лучше, а ты мне эту мудацкую хреновину гнешь — пиши, мол, дура, потей...

...Когда его не трогали, наплывала сонная одурь. Часами он молча сидел на койке, провалившись в вялое полужабытье.

Дежурный брякнул кормушкой, крикнул: "Отбой!" Сосед, поблескивая плешью, крался к мухе на стене — свернутая трубкой газета взлетела...

— Восемьдесят три, — уныло вздохнул он. — А вчера — сто две. Вот так и нас — прихлопнут

и не почешутся. Им лишь бы план, процент раскрытых преступлений... А я прямо говорю: воровал и буду...

\* \* \*

Скамья подсудимых оказалась всего лишь облезлой табуреткой, вмонтированной в пол. Только услышав: "Свидетель Голикова!", Дмитрий очнулся.

Робко отворилась высокая дверь, и Таня, найдя его отчаянными глазами, застыла.

— Ну!.. — крикнул судья. — Сколько вас ждать?

...Кем вы приходитеесь Громову?

— Другом.

— Громче! — хлестнул прокурор и нацелился хищными очками.

— Дружили мы...

— Что значит: "дружили"? — он приосанился, одернул китель. — В садике через веревочку прыгали?

— Читали, в кино ходили, и все такое...

Дебелая грудь заседательницы свирепо колыхнулась, значок "Заслуженный учитель РСФСР" сверкнул, поймав солнечный луч:

— Не крутите!.. Как вас там?.. "Все такое", понимаете ли! Сожительствоваали, значит?

Таня втянула голову в плечи:

— Нет... этого не было.

Ну, скажи, что невеста!.. Ну, почему ты не скажешь? — мысленно молил ее Дмитрий. Но она не слышала...

— Значит, всего за несколько минут до преступления Громов обещал добыть денег для красивой жизни на юге?

— Но он имел в виду — занять.

— У кого? Сколько? На сколько?.. Молчите?.. Вот он и "занял" — у бедной женщины, — победно заключил прокурор.

... — Свидетель Хрусталев!

Ну?.. — опешил Дмитрий. Все у него сходилось на Викторе Модестовиче — как ни крути, другого объяснения не было. Но вот он уверенно идет по проходу, с этой своей доброжелательной улыбкой — всем навстречу, но и чуть свысока... Кивает ему, Дмитрию, ободряет...

...Судья подался всем телом вперед, и сардонические морщины на его сухом лице, таинственно перегруппировавшись, изобразили внимание и почтительность:

— Мы бы не стали вас тревожить вызовом в судебное заседание, но защита уверяет, что у вас есть важное сообщение. Это так?

— Совершенно верно. Я в порядке частной инициативы... Поскольку мне небезразлична судьба этого молодого человека. Я расспросил его товарища, некоего Сипягина, в этом зале присутствующего. Надеюсь, он не откажется подтвердить... Нет ли у Дмитрия врагов? И оказалось, что такой враг — хитрый, злопамятный — есть! Странно, что сам Дмитрий... Извините, что я его по имени, а не обвиняемым — как-то не укладывается в сознании, — тут он повернулся к Дмитрию и улыбнулся с дружеским ободрением, но и как бы вместе с тем с укором, что вот зачем, дескать, забыл он про своего врага?..

Дмитрий напрягся, не понимая, о ком речь.

— Это, — неспешно продолжал Виктор Модестович, — некий Белоус, в том же, что Дмитрий, доме, квартира восемь. Грязный, социально опасный тип, дважды судимый... И как раз где-

то весной этого года, когда сей Белоус опять избивал свою жену, несчастная с воплями выскочила на лестницу. Дмитрий поспешил на помощь. Обратите внимание: на помощь! К сожалению, не всякий в наше время... И можно ли после этого вообразить, что он напал на женщину?.. Да, Дмитрий поспешил, и у них с этим Белоусом... А надо сказать, что у того довольно показательная кличка — "Крюк"... Дмитрий вынудил его к отступлению, и тогда Крюк стал угрожать мстью. Я все правильно рассказываю? — Виктор Модестович снова повернулся к Дмитрию, и тот кивнул ответно.

Все вдруг осветилось новым светом: ну конечно же Крюк! Больше никому!.. Вспомнилось, как давно, лет пять назад, дяде-Васе-в-рот-меня неизвестные пробили голову. "Это Крюк! — разорвался он. — По его натырке, в-рот-меня! За то, что я видел, как он белье с чердака спер!"

— Разрешите? — поднялся прокурор. — Уважаемый свидетель, мы очень ценим и все такое... Но — это из области гипотез, которых можно насочинять сколько угодно. Какой-то сюжет из уголовного романа, выставляющий этого вашего Крюка прямо-таки в демоническом свете: он должен был знать маршруты обвиняемого Громова, организовывать слежку и так далее... Как в кино!

Дмитрий не слышал...

...Ему тогда лет семь было. Отец, развязав зеленый сидор, выкладывал на стол кульки, тетка Настя ахала:

— Ой, крупа!.. Батюшки, колбаска!.. Макароны!!! Конфеты!.. Неуж, селедка?!

А когда расположились чаевничать, отсыпала

в газетный клочок ирисок вперемешку с подушечками, в отдельную бумагу замотала полселетки:

— Сбегай к соседям — гостинец вот ихней девчонке. Застыла в зиму, теперь помирает.

И уже вдогонку:

— Катькой кличут.

Дверь — настезь. Несмело постучав о косяк и не дождавшись ответа, он шагнул через порог: у распахнутого окна сидел строгий дед в дремучей, желтой какой-то бороде, вокруг него волнами гулял махорочный дым; из угла в угол нервно маячила девчонка лет десяти, на руках — грудной младенец, под конопатым носом — сопля. "Баю-баю-баю-бай", — выводила она противным голосом.

— Я Кате гостинцы...

— Вон она, — девчонка кивнула в угол, где висела икона. — Помирает.

Из-под лоскутного одеяла смотрело бледное личико в россыпях веснушек. Дмитрий протянул гостинцы, она выпростала тонкие ручонки, развернула кулек с конфетами, потом — с селедкой. Как вдруг из-за его спины высунулась рука с желтыми кривыми пальцами и цапнула селедку... Дед, припадая на ногу, проковылял к двери, обернулся, оскалил черные пеньки зубов:

— Ишь чего удумали — добро переводить...

— Он у нас блажной, — пояснила девчонка.

В глазах Кати стояла пронзительная тоска.

И та же смертная тоска в Таниных глазах...

— Таня! — крикнул он, и в спину ему размашисто въехало колено конвоира:

— Еще вякнешь — яйца оторву.

... — За разбойное нападение и грабеж... учитывая положительную характеристику фабричной

администрации, а также то, что это первое преступление... принимая во внимание упорство обвиняемого, не желающего выразить раскаяние... пять лет исправительно-трудовых колоний строгого режима.

Таня побелела, поднялась со стула, сдавленно всхлипнула и боком повалилась на пол — юбка задралась, скрюченные пальцы шарили вдоль тела, будто обыскивая.. Дмитрий закусил руку, чтобы не закричать: вдруг надвинулась на него дикая жара позапрошлого лета... рыжая щетина клумбы возле метро... Судьба...

Публика всполошилась, повскакала с мест... Подскочили Сипягин с Виктором Модестовичем и вынесли Таню из зала.

\* \* \*

Отец заметно сдал: осунулся, голова сплошь сивая, руки дрожат...

— Полчаса вам дадено, — сказал надзиратель.

Разделявший их стол широк, хоть в пинг-понг перекидывайся.

— Как Таня?

— Ничего, отошла. Переживает... Хорошая девушка. Не пустили вот, так она у ворот стоит. Хорошая...

— А Вера Никандровна?

Отец поморщился:

— Ну, ты же знаешь... Как всегда. "И этого не обошло" — вот и весь сказ.

Надзиратель за шкирку тащил из-за стола соседа — тот цеплялся ногами за лавку, докрикивая:

— Мясу не забудь сказать: не отвалит монету — ноги из жопы выдерну!

Отец кашлянул со значением и показал глазами на свою руку.

— Как же, отвалит он, — уныло возражала долговязая девчонка — не то сестра, не то жена. — Держи карман шире.

Дмитрий чуть выставил ставшую хваткой ладонь.

— Да передачи шли, а не то ноги из жопы выдерну!..

Отец щелкнул ногтем — бумажный комочек клюнул в ладонь.

Увели. Стало тихо, только надзиратель, навалившись на стол, насвистывал: "Ландыши, ландыши..."

— Ну, что же, сынок, — отец старался казаться спокойным, — и тебя не миновало. Ничего... Как-нибудь... Пять лет — не вечность.

За что?.. Пять лет!.. Вся жизнь сломана!.. А Таня?.. Пять лет...

Плечи его дрогнули, он подавил всхлип, закаменел лицом, но слезы сами собой выкатились из глаз. Беззвучные слезы на мертвом лице... Отец испугался:

— Что ты? Что ты, сынок?

Надзиратель, забыв о "Ландышах", смотрел насмешливо.

— Мне адвоката обещали хорошего, настоящего! — крикнул отец. — Слышишь?.. А Виктор докажет насчет этого Крюка. И генерал похлопочет...

— Спасибо... Только ты же знаешь: вход сюда — копейка, а выход...

В камере он разлепил бумажный комочек — туго смятую десятку с крохотной запиской внутри:

"Дорогой, меня не пустили к тебе. Стою у



ворот. Где ты? Ночами я кричу в черноту. Митя, сейчас я поняла, какое это было счастье. Неужели — "было"? Не верю, не хочу. Ах, Митя, Митя! Как я буду одна? Жду тебя верно. Твоя на веки вечные Таня".

*ВАШ РОМАН ПРОЧИТАН*

## ЛАГЕРНАЯ ПРОЗА

На втором году письма поредчали, попутно усыхая числом страниц и тоном.

И вдруг все, как обрезало.

Словно вечные сумерки надвинулись — ни просвета, ни конца. Тоска, безысходность... Ну, еще голод, изжога от тухлой баланды, отупление, усталость, холод — промозглый весной-осенью, мертвящий зимой, — комары, гнусь всякая летом, барачная вонь, скандалы, драки, всегда на виду... Ну, сапоги у него раз украли, а старые текли — с неделю потом температурил... Ну, избили его дважды ни за что, и сам он раз ударил крикуна-дневального, тоже фактически ни за что — нервы сдали... И все в том же духе — лагерная обыденщина...

Даже смерть отца прошла как-то боком, лишь слегка царапнув.

Запрашивать Сипягина о Тане — стыдно, тяжело... Ответ почти известен. Уж лучше как бы не знать... Но — настигло.

”Привет, мученик! — писал Сипягин. — Я с горестной вестью: умерла бабка моя незабвенная. Царство ей Небесное! Все ничего была, а потом... И веришь ли, последнее ее слово о тебе было: ”Пусть плюнет (это она про Таню), сопли — не

позиция, сопли — последнее дело”. В общем, Таня выскочила-таки за этого Модестовича. Я даже ходил к ним, но лифтер бульдогом вцепился, не изволил допустить, однако выдал тайну, что они за границей пребывают, а спиногрыз ихний у генеральши в Абрамцеве. Сам-то генерал того, отсуетился — осенью еще, на рыбалке простыл... Ты смотри, все старики враз поумирали, словно книжные персонажи, уже ненужные автору. Да простится мне кошунство сие. Вот так, старина. Ну, что тебе сказать? Тут я к бабке своей мудрой присоединяюсь: сопли — не позиция. Обнимаю и протчее”.

Над угловой вышкой с драконьим глазом прожектора нависла матовая луна, бусинки недавнего дождя поблескивали на проволоке запретки, глинистая тропинка влажно отсвечивала, чмокала под ногами... Прожектор дернулся — на деревце, возле барака, сверкнули фиолетовые стекляшки: прогнув ветку дугой, висела, вывалив острый язычок, кошка...

— Эй, ты! — на вышке клацнул затвор. — Чего бродишь? Отбой был!

Рядом трудно дышал туберкулезник — в груди у него словно надувался и опадал жирный пузырь, с булканьем выталкивая наружу гнилой воздух. В углу кто-то вскинулся, призрачно белея рубахой, захохотал и рухнул, как провалился. За забором взлаяли, подхватились овчарки — распаханые шрамами пасти все ближе, ближе к Тане. Дмитрий хотел крикнуть, но — никак... Только бессильный хрип. И вдруг догадался: он в лагере — звуки отсюда не долетают.

— Ой-ей-ей! — взрыдал ломкий голос.

Зашевелились.

— Это кто, Дрист, что ли?.. Эй там, рядом! Выключи его сапогом!

Равномерно лопался в груди соседа жирный пузырь.

Сон отхлынул, но неровными толчками колотилось сердце, и память об ужасе бессилия — ни крикнуть, ни пальцем шевельнуть — не отпускала.

\* \* \*

В один из этапных понедельников пошли вскрики, хлопки по спинам:

— Ну, братва, теперь с фиксами — Зуб приказал!..

Сперва, конечно, Колыма обзавелся: всегда презрительно-кислый, а тут вдруг с ухмылкой — вся металлическая краса напоказ. Потом оделась железом пасть Самца — был вроде дряхлой макаки, теперь скалился злобно, как павиан. За ним синегубый, истеричный Стреляный, одноглазый Гитлер, похожий на мучнисто-белого червя Глист, удалая парочка — Иван-Дурак с Бедой, — а уж после и прочие, помельче. По вечерам в кочегарке жизнь была ключом, и литровый чифирбак в черной шубе нагара весело булькал в печном зеве.

На дровах распластался, распахнув черный рот, пациент. Зуб орудовал напильником.

— Мычи, мычи, падла, — весело ругался он, и лицо его, в буграх скул и желваков, лоснилось.

Скрежетало до противных мурашек по спине, пахло жженой костью.

— Перекур! — напильник крутанулся раз-другой и, чмокнув, впился в полено.

Страдалец, охая, приходил в себя. Зуб свер-

нул махорочную сигарку толщиной с палец, отхлебнул из чифирбака и занялся битумом: сыпанул горсть в миску, плеснул воды и тщательно размешал щепкой.

— Топай сюда, — скомандовал, и прыщавый паренек, мявшийся у двери, пошел пятнами испуга. Зуб зачерпнул из миски полную руку месива. — Разевай хлебальник — слепок замастырю.

— Я нет... я не за этим... Насчет спутников\*.

Зуб шмякнул битум в миску, сплюнул.

— Не-е, парниша. За кого ты меня имеешь?

— Ну, Зуб, ну чего тебе стоит? — канючил тот. — Я заплачу...

— Иди, иди отсюда... А ты чего? — подступил он к Дмитрию. — Тоже спутники?

— Да нет, просто у печки посидеть.

— А-а... — Зуб было отвернулся, но сейчас же, словно вздрогнув, охватил Дмитрия всего сразу и к лицу глазами приклеился, сморщив лоб. — Откуда будешь?

— Москвич.

— Давно паришься?

— Зуб, ладно тебе, — снова захныкал прыщавый.

— Ты смотри, коза? — удивился Зуб. — По-хорошему не понимает... А ну, дергай отсюда, пока очко на восьмиклинку не порвал!

— Дали пятеру, — ответил Дмитрий, — четвертый добиваю.

— За?

— Грабиловку пришили.

— Ага... Ну, сиди, грейся, — щелкнул пальцем —

---

\* Спутники — пластмассовые кругляши, загнанные под кожу стебля пениса.

окурок скрылся в печи, и снова заскрежетал напильник.

Что-то знакомое проступало в этом дантисте — в шишковатом лице его, в том, как сплюнул, в повадке всей... Но — не вспоминалось...

— У-у, тварь! — взвыл пациент и бешено засучил ногами. — Перекур, а то сдохну, — он осторожно ощупал зубы, потом выудил из кармана пару мятых папирос — себе и лекарю. — Ты со спутниками этими не связывайся, я тебе говорю. Тут пошел один на свиданку с сеструхой, да ка-а-ак вгонит ей под шкуру! Она — в слезы: "Ты чего мне, корягой, что ли, въехал?" И ни в какую. Ну, он ей в харю — визг, крик.. Менты нарисовались, а она, дура, — так, мол, и так... Теперь, как свиданка, муде на стол: сперва спутники вырежи!.. И кум таскает: кто сделал, то да се...

— Менты! — ввалился костлявѣй, с корявым, как дуплистое дерево, лицом. — Прячь струмент, тить твою мать! — от возбуждения ему не стоялось на месте, ноги непрерывно выделявали замысловатую чечетку.

Сразу сделалось тесно, Дмитрий поднялся — и снова зацепился за внимательный взгляд Зуба.

\* \* \*

На другой день бригадир шепнул:

— Ты поосторожней — Зуб чего-то справки наводит. Причину, что ли, ищет к тебе?

Звякнула обеденная рельса. У столовой толкалась крикливая толпа.

— Успеешь еще пошамать, — услышал Дмитрий, обернулся — Зуб скалится, не то дружески,

не то с заездом каким-то, не разберешь. — Давай-ка на момент, — он потянул Дмитрия за рукав. — Разговор есть... Я тут талию твою прощупал — ничего, говорят, ты мужик. Честный, значит... И ты, выходит, по первому разу, а до того ни-ни — в смысле, не сидел?.. Да-а... А меня, часом, не признаешь?

Дмитрий опять напрягся, ловя что-то мелькающее... и покачал головой.

— Тебе ведь гоп-стоп пришили? Кошелек и тому прочее?.. У метро "Бауманская?" В цвет?.. Так это мы с Лисой заделали. Признаешь теперь?.. Да не дергайся ты! Аж побледнел весь. Я вас, фраеров, наскрозь вижу — думаешь: скорей к начальнику, заяву молотить. Так и так, гражданин начальничек, я же говорил, что ни в чем не виноват, душа моя чиста, как капля утренней мочи... Ну, допустим, я вроде как виноват перед тобой, но чтобы писать — и думать зарекись. Чего морду воротишь? Не хочешь, так мне плевать.

— Рассказывай, — выдавил Дмитрий.

Зуб кивнул на пирамиду баланов:

— Присаживайся, — и сам первый примостился. — Значит, так. У тебя, ясное дело, интерес узнать, а у меня свой интерес... Тут одна падла гнилая бочку катит, что я в то время во Владивостоке был. Она где!.. В общем, Чуму там замочили втихаря. Понял? А я, падла, в Москве тогда ошивался. Лиса... Лиса ссучился, ему веры нет. Выходит, кроме тебя, некому подтвердить. Понял? А ты думал, я такой добрый — пришел к тебе колоться? Нет, браток, за так оно ничего не бывает, за так можно только сифилис у родной сестры подцепить. Баш на баш, я — тебе, ты — мне... Идет?.. Чего молчишь?



Дмитрий кивнул.

— Эй ты, как там тебя? — окликнул Зуб ковылявшего к столовой старика. — Скажи там Глисту: Зуб зовет... Да на цирлах, змей!

Глист появился тут же — как всегда, хмурый, подбородок остро вскинут, жилистые кисти далеко торчат из рукавов бушлата.

— Этот, — кивнул Зуб на Дмитрия. — Спроси, если хочешь, — и отвернулся, вроде бы равнодушно.

Глист холодно оглядел Дмитрия, сморщился, как от кислого.

— Не темнишь, парень?

— Зачем мне это? Я в ваши игры не играю.

— Может, запугали или пообещали что?..

— Не из пугливых. А пообещать... Зуб вон обещал рассказать, как и что.

— Ну, это ваши там дела. Значит, — Глист повернулся к Зубу, — та сука наплела на тебя. Я, сам знаешь, почем купил, так и продаю... Извини, браток. А ту падлу я еще поймаю, подведу муде к бороде, чтобы на честняков грязь не лил, сучок!

И ушел, сутулясь.

Зуб развалился поудобней.

— Житуха... Крутишься, как падла, от ментов бегаешь, живешь честно, а гля какая-нибудь ляпнет что ни попадя — и доказывай, что ты не верблюд, — тон у него был ворчливый, но глазки сияли победительно. — Ну, ладно... Значит, так. Сидим мы с Лисой в кабаке, в "Якоре", только смотрим, Фелька-Фарц нарисовался — барыга и прочее... Дело, кричит, есть. Один, кричит, бобер хлопчет насчет помочь. Один, мол, его продал — сука, в лагере на кума работал. Это ты, выходит. А ты ж и не сидел ни разу. Вот падла!.. В общем,

кричит, надо ему козью морду заделать. Пару сотен сразу, три потом. И план готовый. Ну, это взяли мы в дело шлюху одну, Вальку-Грош... и провернули. Тебе вот на пятеру. Нам-то откуда знать, что ты не сука?

Можно было и не спрашивать, кто за этим стоял, да Зуб и в глаза его не видел: Фарц напустил туману, что заказчик — крупный делащ, не хочет показываться...

— Как-то его не по-русски, — припомнил Зуб. — Фарц звонил, что мы согласные. Эрастыч, не Эрастыч... В общем, какой-то Пидарастыч.

— Модестович.

— Точняк!.. А чем ты ему насолил?

Дмитрий промолчал.

— Дело твое... Ты вот чего... Я тебе адресок ко-реша своего дам — за пару сотен он этому Пидарастычу калган прошибет.

— Не надо... Я сам не маленький.

Руки его мелко дрожали, грудь, живот, все тело заливала обморочная слабость.

\* \* \*

Пробили подъем, эки, позевывая, лениво матерясь, втягивались в утреннюю суету.

Дмитрий вышел из барака — в лицо дохнуло весной. За дощатым забором в паутине колючей проволоки — рощица на бугре, в темных ее ветвях мокрели шапки птичьих гнезд.

— Ужаснется, — неуверенно сказал он вслух.

И виделось ему, как, услышав рассказ, Таня бледнеет и заливается слезами...

## ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Начальник спецчасти одной рукой перебирал бумаги, пальцем другой ковырял то в ухе, то в носу.

— Сколько не досидел? — калмыцкие шелки лениво ощупали Дмитрия.

— Восемь месяцев.

— И куда?

— В Москву, конечно, — с нахальством отчаяния сказал Дмитрий.

— Ну?.. Пряма-таки в самую Москву? — оживился тот, ерзнув всем центнером мяса. — Может, в Вашингтон?.. Ни в Москву, ни даже в московскую область... Кто у тебя там?

— Тетка.

— Тетка — не прямой родственник, — он запустил пальцы в ноздрю, резко дернул — поднес к глазам пучок черных скользких волос.

— Тогда в Александров, что ли, — сдался Дмитрий.

\* \* \*

День вяло занимался, тлея в сырости. Серели торопливые спины под мокрыми зонтами, сеял-

ся скучный настырный дождик, облака, плешивые и грязные, как облезлый коврик, висели над самыми крышами. Втянув голову в плечи, Дмитрий жался к домам, зато над лужами не колебался, шагал напропалую — кирзачи попались удачные, держали воду.

Отец тоже в дождь вернулся, и тоже в октябре.

Белый пупырышек звонка, такой знакомый...

— Уж и не чаяла дожждаться, — заплакала Настасья Степановна. — Так меня этот Пузиков донимает, так ли донимает!.. Чтоб я, значит, в деревню сбежала, а он бы в твою горницу перебрался — и ширше, и вид уличный из окна. Я бы рада-радешенька, да Парфеньч покойный наказывал дожждаться тебя, — она снова затуманилась. — Ты вот что: я пока яишенку спроворю, а ты дуй прямо к Фомину Петр Григорьичу — участковый, отцов закадыка. Только б на пенсию не ушел.

Старуха права: устал-не устал, а прописка — дело тонкое, на минуту к нужному человеку опоздаешь, потом годами не наверстать.

— Ну, парень, подфартило тебе, — капитан Фомин подмигнул, показав в улыбке желтые клыки. — Приди ты неделю тому, я бы сорок раз в затылке поскреб, а теперь — в самый цвет!.. Статью в "Литературке" читал? "Больше доверия" называется. Вот видишь, а еще грамотный, — навалившись жирной грудью на замусоренный бумагами стол, он вдумчиво выщедил полстакана крутого чаю. — Милиция, пишут, должна помогать освободившимся... Так что, пока не появилась статья наоборот, мы тебя и пропишем. Понял, грамотей? Давай катай заяву и топай на старую работу. На мебельной трудился?.. Топай туда и проси бумажку, что они тебя

берут... Знаю, знаю — они: сперва прописка, а потом бумажка! А я вот им сейчас в отдел кадров звякну, что милиция не против. Они и дадут. Вот так. С тебя бутылка, как говорится, — капитан отодвинул задом стул, поднялся, крякнув, и подошел к окну — коротышка, похожий на мятую грушу: покатые плечи почти сливались с широким тазом, брюхо переваливалось через ремень. — Тучи-то, тучи, — донеслось чуть слышно. — Полны снегом через край. Скоро грянет... — он повернулся к Дмитрию. — Вот так. В общем, Парфенычу на упокой души — очень он за тебя убивался. Вот и, значит... Живи, значит, — выпуклые глаза его смотрели грустно из-под седых бровей.

\* \* \*

Модестовича он иначе как Гнусом не называл. Набирая номер, бледнел, заранее менял голос, но каждый раз натывался на тоскливые длинные гудки. Он вычислил их окна на шестом этаже — всегда темные. Оставалась Иванеевка...

По камушкам, по досточкам, и все равно изляпавшись до колен, добрался до Таниного дома. Постучал — тишина, тронул сенную дверь — отворилась...

— Здрасьте, Аграфена Павловна, — сказал наугад.

— Ой, родненький! — из-под тряпья на печи выпросталась седая нечесаная голова. — Наконец-то! — охая, кляня лихоманку, Аграфена Павловна спустилась на пол. — А я уж заждалась — неуж, трясусь, и эту зиму с худой крышей зимовать?

Дмитрий увял.

— Вы меня забыли?.. Я приезжал с Таней. Давно, правда...

Она оглядела его, склонив голову по-птичьи набок.

— Как же, — голос ее поскучнел. — Как не признать... Ты уж прости меня — болею вот... Шмякнулась в гололед — теперь сохну, а смолоду такая здоровущая была, об дорогу не ушибешь... Я ведь, мил-человек, за мастера тебя приняла. Уж второй год бьюсь, чтоб крышу подлатать. Прохудилась и текет, и текет...

— А Таня как? — собрался он с духом.

— Таня-то? Хорошо. Дай Бог каждому, — ответила она очень не сразу, вильнув глазами, словно искала на полу уроненное или забытое. — По заграничным странам ездит, — придала она голосу умильную напевность. — Платьев всяких привозит. И меня, старую, не забывает, в прошлую вон зиму кофту теплую подарила, да утюг электрический, да пальто полусезонное...

— А сейчас она где?

— А Бог ее ведает... В марте, знаю, вернется, а где да как — не скажу... А ты, мил-человек, уж не планируешь ли свести ее от мужа? — и сжала губы, осуждая. — Не вздумай. Да и не пойдет она — больно счастлива. И дочка опять же у них...

\* \* \*

— Митька!.. Быть не может! — от радости у Сипягина прорезался бас, рука, настезь откинувшая дверь, как бы заранее распахнулась обнять. Облапил, отстранился, разглядывая, увесисто хлопнул по плечу и расцеловал трижды. — Заходи, бродяга, заходи!

— А я вот, — начал Дмитрий и закашлялся. — Дай, думаю... как там Сипяга? — он снял телогрейку. — Красиво живешь.

Сипягин перекривил рот:

— А-а... Не велики хоромы. Две комнатешки.

— Писателем заделался?.. Видел я твою книжницу. Вполне патриотична...

— Жить-то надо, — несколько смутился Сипягин.

— Ну и? В ЭС-ПЭ приняли хотя бы?

— Полгода уже состою... Так, значит, говоришь, видел книгу? Это я так — обеспечение тыла, как говорится. Теперь за нетленку пора браться.

— Ну, ну, — Дмитрий поискал глазами, куда присесть. Единственный свободный стул числился при письменном столе, два других и кресло изнемогали под газетно-журнальными горами.

— Момент! — Сипягин скрылся на кухне и вновь появился — с табуреткой и подносом. — Располагайся... Армянский, — гримасничая, повертел бутылку в руке, выколупнул пробку, побулкчал в стаканы.

Дмитрий наблюдал с улыбкой.

— Ты все такой же, только потолще сделался.

— Глистов выведи — тоже поправишься, — сострил Сипягин. — Сиднем сажу, вот и стал заду плечистый... Чего глазами-то стрельнул? Небось, насчет того романа мелькнуло? "Дмитрий Несчастный", — со вкусом выговорил он. — Название одно чего стоит — не хуже, чем "Князь Серебряный"... Каюсь, подзабросил я его. Но теперь — персонаж под боком, так что... Если время позволит.

С отвычки Дмитрий все еще морщился над стаканом, а Сипягин уже снова налил себе, потянулся чокнуться — халат разъехался на груди,

и в черной путанице волос блеснул золотой крестик... Выходит, неспроста эти иконы в красном углу и настенный лубок с румяным богатырем, ногой попирающим носатого, тощего чертеняку в немецком платье.

Проследив его взгляд, Сипягин усмехнулся:

— Маешься? Как это: член ЭС-ПЭ и крест?.. Совмещаем помаленьку.

— Партия и церковь — близнецы-братья?..

— Не совсем, — пропуская иронию мимо, построжал Сипягин. — Скорее: партия и церковь да будут едины.

— "Душа дается народу раз навсегда..."

— А что? Скажешь, не так?

— Очень-очень вряд ли... Слышал такое словцо: "выбить душу"? Вроде бы и те же людишки, да не те — душонку из них выбили.

— Совсем? На веки вечные?

— Ну, хорошо, не выбили, а отбили. Вот и выходит по Сталину: русское по форме, советское по содержанию...

— Ладно... А то разругаемся прямо в первый день. Бабка, Царство ей Небесное, боялась, как бы ты не раскис. С Таней этой... и вообще. А ты, я вижу, в другую крайность вдарился — в угрюмость... Ты мне вот что скажи: почему раньше срока? Отличился?

— Там отличишься... План спас. Спустили план на двенадцать досрочников, а один возьми да загнись прямо в нужный день. Ну, кинулись — вроде я не полная отрицаловка: стучать хоть не стучу, зато вкалываю, не блатую. Вот и... Пришлось, конечно, пообещать, что больше не буду женщин по ночам грабить.

\* \* \*



Зима еле плелась, спотыкаясь о каждый день. Лучше бы уж прямо весной освободили, мелькала идиотская мысль.

Но вот наконец и февральские метели утратили напор, стывшая небесная муть все чаще зияла весенней промытостью, а план все никак не складывался. Вечерами бесцельно петлял возле ее дома, стараясь представить, как это будет: вот она появляется, а он что? Не представлялось. Уже заранее ни одно слово не шло на ум. Гигантский кукиш на фасаде назойливо лез в глаза.

Но однажды окна на шестом этаже засияли. И мелкая рябь в душе враз разгладилась, закамелена мертвенным спокойствием: вот и все, теперь все...

Он прочно оккупировал скамейку в скучном садике наискосок, чтобы видеть парадную дверь. За эти месяцы обитатели дома примелькались — актеры на мелких ролях, статисты, нагнетающие ожидание, готовящие появление героини. Дверь распаивается изнутри — выход на сцену. Отворяется снаружи — уход за кулисы... Их маски ничего не значили, забывались до следующего выхода-ухода, но вот появились новые — действующие — лица: неспешная, всегда словно спросонья, старуха выводила Танину дочь (черные валенки, черная шапка, черная шубка — бойкий черный шарик, перехваченный белым поясом); то в ярком свитере, то в замшевой куртке, выделявшая губами вихлястые мелодии, мелькал сыночек Гнуса, по годам — школьник, по одежке — весь выездной; поворотливо подруливал на юрких "Жигулях" сам Гнус. А Тани все не было.

Меньше становилось прохожих, реже шуршали мимо, разбрызгивая грязный снег, машины —

он все сидел. Время словно переставало быть, он выпадал из него, лишь изредка выныривая на поверхность реальности, как больной выныривает из бреда и вдруг вскидывается, обводит палату мутным взглядом... Одна за другой, поморгав, гасли розовые глазницы на ее этаже — он вдруг спохватывался, как пробуждался, очумело озираясь по сторонам.

В воскресенье проснулся и понял: сегодня!.. Не спешил, пришел к десяти, как будто условился с ней. Так и есть — она сидела на его скамейке. Рядом мельтешила девочка.

Вроде бы из-за туч поигрывало солнце, слепя глаза, а может, их резал ветер — они слезились, и смутный, двоящийся силуэт вполоборота на скамейке все никак не хотел очертиться устойчиво... Мучительная ухмылка перекосила, сковала лицо, он неловко сел, как упал, рядом с Таней.

— Ты?.. — выговорила она ломким голосом. Что-то случилось с ее лицом — девчонка завелась, как автомобильный гудок.

Не отрывая от нее умоляющих глаз, Дмитрий разлепил губы:

— Нам надо поговорить.

— Да, да, — согласно кивнула Таня. — В семь... У Гоголя на бульваре.

Она искательно улыбнулась и почти бегом, спотыкаясь, оскальзываясь, пошла к дому — девчонка, перевалившись через ее плечо, продолжала гудеть, не спуская с Дмитрия враждебных глаз.

\* \* \*

— ...Недели такой не было, чтобы не являлся. Надушенный, в галстук... И всегда с отчетом,

как о тебе хлопочет, убивается. Раз даже взял меня с собой в прокуратуру. Приняла нас какая-то старушенция — ручки-ножки трясутся, Божий одуванчик в мундире. Улики, говорит, железные, и вообще криминалистика знает много случаев, когда абсолютно честный человек срывается... Вот тогда он мне и сказал про Гете...

— А про Зуба он тебе не сказал?

— Про какого Зуба?

— А про какого Гете?

— Ну, что если даже сам величайший гуманист Гете, — голос ее сделался подчеркнуто задумчивым, видимо имитируя первоисточник, глаза поблескивали насмешкой, — если даже он признался, что нет такого преступления, которое он не способен совершить, то уж нам, грешным... — она смахнула с лица прядь. — Конечно, в твой огород камешек.

— Зуб — человек простой: ворует, грабит без ссылок на Гете.

.....

Таня только кивала, понимающе хмыкала.

— Что-то подобное приходило мне в голову. Позже, конечно. Когда я его разглядела. Но это когда еще... А тогда... Жизнь ведь проходит, а он такой джентльмен, и все кругом в один голос: "Дура! Ду-у-ра!.." Понимаешь?.. И вот все вроде бы о'кеюшки — заграница и все такое, — а... скучно как-то. И ты из головы нейдешь — все перебираю, как мы с тобой по улицам бродили, да что ты мне ответил, когда я тебе вот это сказала, да как поглядел, улыбнулся. А уж сны — и говорить нечего! Чуть не каждую ночь. Вот и... — она счастливо рассмеялась — выходило, будто именно ее сны привели его наконец сюда.

\* \* \*

Наскакивала колючая поземка, мчалась, вздымая сухую снежную пыль, то закручивая ее веревочкой, то швыряя веером.

В сером пальто, серых брюках, с черной кожаной сумкой через плечо она сияла издалека, спешила. И с налету:

— Я все устроила!

Мелькнуло: развод?!

Но нет, — другое. Пока другое, утешил он себя.

— В Ленинград отпросилась на пару дней. К подруге. Ну и... она как бы заболела. С ней я, конечно, договорилась, как и что. Только надо будет, — деловито хмурилась Таня, — разок звякнуть ему. Я, знаешь, таким измененным голосом, скороговоркой такой... Через платок даже: "Междугородняя, Ленинград..." А потом тоже через платок, чтобы вроде плохая слышимость. Хотя он сейчас и не беспокоится — думает: ты еще за проволокой. Вот летом... Только чтобы соседи твои — у вас же в коридоре телефон? — не подслушали. Какой такой Ленинград? — черт-те что подумают...

— Плевать... И как же мы будем? Летом...

— Придумаем что-нибудь, — отмахнулась она, но, хмурость его уловив, отменила беззаботность, глаза стали жалкими. — Ну, Митя, прошу тебя — не дави. Все так непросто, дай мне собраться с духом...

Налетел, взвихрясь, ветер. Бульварная липка низко кланялась, гибко взмахивая голыми ветвями.

## ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСЕ

Шел слякотный снег, дуло. Дмитрий отворачивался, лицо прятал в поднятый воротник, руки — в карманы, но голые запястья беззащитно рдели от холода.

— Ты что же без перчаток?

— А-а, я привычный.

— Ну что ж, в Ленинграде было просто замечательно, — она подтолкнула его плечом, — теперь в Ригу надо махнуть. У меня и в Риге подружка есть. Но — недельки через две.

Говорили, отворачиваясь от ветра и как будто друг от друга.

— Тут кофеварка есть. Погреемся? — Таня кивнула на гастронном.

Но кофе испортил алкаш — лобастый недомерок, бледные щеки втянуты, как у аскета, железнодорожная шинель распахнута, на голой груди синел профиль Ленина в ореоле корявых букв: "Жизнь — борьба". Навалился на столик, дергал Дмитрия за рукав — из-за икоты не разобрать, то ли требовал чего-то, то ли в любви объяснялся. Из наглых глаз сочились мутные слезы.

— Сгинь! — разозлился наконец Дмитрий, и тот сгинул.

— Ну что, давай к тебе? — предложила Таня. — До трех я свободна. Возьми вина, что ли, да конфет. Я на улице подожду.

Он еще в очереди маялся, когда увидел через витрину: алкаш двинулся к Тане, она брезгливо отшатнулась, тот — за ней. Мелькнуло ее лицо, искаженное страхом, рука — локтем в шинельный бок...

Опрометью на улицу. Алкаш лежал, как подстреленный, от виска к уху ползла струйка крови. Дмитрий склонился, впитав коленями холодную слякоть, схватил кисть, потискал ее — никакого пульса, рука была чуть теплой, тем неживым, едва угадываемым теплом, которое хранят в себе ночью нагретые дневным солнцем камни. Кто-то въвернулся из-за угла, еще и еще, повалил магазинный люд, продавцы в белых халатах, и уже чья-то рука вцепилась Дмитрию в ворот пальто, царапнув жестким ногтем шею, он выпрямился, напрягся вырваться и чуть не упал, отброшенный к витрине. Краем глаза успел увидеть Таню, ее узкую жалкую спину уже на той стороне улицы — под шапкой у него шевельнулись волосы, как будто чьи-то холодные пальцы прошли по ним...

— Ой-ей-ей! — жалостливо качала головой бабка в сером шерстяном платке. — Это ж Серега с девятого дома. Ой, побегу, скажу евоной бабе.

Юзанув, тормознул синий газик, двое в милицейских шинелях тяжело выпрыгнули на тротуар, не спеша вывалился румяный толстяк — шея набегала на воротник застегнутого наглухо мрачного пальто. Опер, механически отметил Дмитрий.

— Так, — опер наклонился к телу, успев перед этим окинуть взглядом Дмитрия.

— Этот, этот, — предупреждая вопрос, высунулся старик в очках, — он убил, — и на всякий случай впятился задом в толпу.

— Ну и правильно! — взмахнула тяжелой авоськой конопатая молодуха. — Пропойца! Приставал, небось, к человеку. Он и ко мне приставал, пьянь несчастная! Жизни от них нет!

— Документы! — милиционер крепко взял Дмитрия за локоть.

Опер сильно тряхнул тело за плечо — оно ожило, приподняло голову и громко рыгнуло. Опер отшатнулся:

— Убьешь такого, мать его!..

Толпу кольхнул ответный смешок.

— Оглох, что ли? — тугие милицейские щеки окрасились яростью. — Документы, говорю! — и сам полез толстой рукой расстегивать пальто. Дмитрий рванулся, прыгнул в сторону. Заверещал смертельной угрозой свисток, затопали догоняющие сапоги, он — в подворотню, в подъезд — на счастье, сквозной, — опять в подворотню...

\* \* \*

— Она просто испугалась, — стоял на своем Дмитрий.

Сипягин пнул валявшийся на полу тапочек — тот шмякнулся о стену.

— Испугалась, испугалась, — деревянным голосом передразнил он. — Заладил... Конечно, испугалась! И предала.

— Какая же ты сука все-таки.

— Сука я или кобель — к делу не касаемо. А ты... глаза закрываешь, как страус.

— Страус голову в песок прячет, — уличил Дмитрий.

— Какая разница?! В песок, в мешок! Важно, что слепой!

Дмитрий пьяно качнулся — стоявший на полу стакан с водкой покатился.

— Осел! — взвыл Сипягин.

— Я подотру.

— Да черт с ним! Водку жалко... Придется НЗ потрошить.

Исчез, появился — на подбородке дрожали водяные капли. Лицо под кран сует, потому и трезвѣй, подозрительно отметил Дмитрий.

Откуда-то взялся графин. Сипягин налил.

— Самоделка. То есть "Московская", но с чесноком. Еврейчик один научил — противности той сивушной нет и для здоровья пользительно. Они знают что к чему, бегут вон, как крысы с корабля...

— А что, корабль уже наконец тонет? — оторвалась от диванного валика рыжая калининская бородка. — Лев Семеныч, — лежа, кивнула бородка Дмитрию. — Давно ли, Анатолий Васильевич? Всего только утром вы говорили: пусть евреи уезжают, потому как широка Россия, а двум таким чужим натурам даже и на ее просторах не ужиться.

Дмитрий закашлялся.

— Не в то горло попала, — сморщился, замотал головой, гримасничая. — Нет, врешь, — он раздраженно посмотрел Сипягину в глаза, ожидая возражения, чтобы окончательно вспылить, наорать. — Она не предала, она просто испугалась



и знак мне давала, чтобы я тоже убежал... убежал... вместе с ней.

— Ну и что, что говорил, — Сипягин шумно выдохнул, осушил стакан и сунул в рот ломтик соленого огурца. — Утром так говорил, а сейчас уже вечер. Я же не робот — одно и то же талдычить... И потом: есть евреи и евреи. Я не отрицаю. Да пусть бы они и все пшеничные были, я даже признаю... Хотя это под вопросом, но пусть. Ну и что? Мы разные, как лебедь раком шуку и еще, как хлад и пламень.

— Если хотите знать, — с вызовом выпятил бородку Лев Семенович, — мой племянник сидит за сионизм.

— Это я уважаю, — покивал Сипягин, прожевав огурец. — Когда за идею. Хотя тоже не мешает проверить сперва: сесть — не велика штука, это не заслуга, любого могут упрятать — хоть сионизм пропишут, хоть онанизм. Сесть — тьфу, а вот как сидит человек, это вопрос. Страдание, оно... Одного укрепляет, а сотню ломает. Правильно, Митрий?

— Это вы зря, он честный малый, — заступился за племянника Лев Семенович. — Не то что эти номенклатурные борцы, — он поднялся с дивана, поправил галстук, одернул мятый пиджак и деловито налил себе полстакана. — Когда сажали да сертификатов не слали, их не слышать было.

— Ну и дурак, кто шлет. Подлеца плодит. И вообще, ниспровергатель — он кто? Маменькин сынок. с жиру да мелкомыслия... Бытие трагично, — Сипягин учительски воздел палец, напустил на лицо сугубую серьезность, слишком сугубую — не поймешь: то ли юродствует, то ли сокровенного коснулся. — Да, трагично. А это забыли, не чуют. Вот мы, дескать, заводы —

крестьянам, землю — рабочим, и вместо извечной трагедии бытия — пожалуйста: вакханалия счастья. Человек, кричат, рожден для счастья, как птица для... помета.

— На свете счастья нет, а есть покой и воля, — мрачно отчеканил Дмитрий. — А покой — это по совести жить... Что ж, по-твоему, и не восставать?

— Ты восставай, да не будь дураком: сейчас, мол, все переделаю! Да в том ведь и штука, что недурак в ниспровергатели не пойдет. Туда психопат прет, неудачник.

Но Дмитрий уже охладел — быстрей, чем вспыхнул:

— С тобой спорить... То так ты, то эдак...

— А я сложный, как жизнь наша.

Лев Семенович одобрительно кивал, время от времени нерешительно подносил к вислому носу стакан.

— Все правильно, — он мудро покачал головой, — однако душно, тошно и скучно. Добром это не кончится, — он вдруг пригорюнился, вислоносое его лицо распустилось в заунывное бабье:

И скучно, и грустно, —

затянул он тихонечко, —

И некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды...

Голос его дрожал от растроганности, но, вероятно, он давно уже не упражнялся — прислушивался к себе с тайной усмешкой, как слушают захмелевшего родственника, за которого немножко стыдно.

— Пострадал по пятому пункту, — пояснил Си-

пягин. — Из НИИ турнули, за намерение, как он выражается, променять доисторическую родину на историческую... Ну, кому, может, и доисторическая, а нам в самый раз. Но мы не в претензии, тем более что Лев Семеньч — хороший человек, хоть и еврей, — он заржал. — Шутка! Не обижайся, Семеньч.

— И не думаю, — обиделся Лев Семеньч. — Вы тоже ничего, хоть и русский.

И чего, спрашивается, драпал? — с новой силой навалилась тоска. Ну, приписали бы: толкнул алкаша. Нет — в бега... Да еще в ужасе этом, в поту холодном...

И всей кожей ощутил жгучий стыд: пот сегодняшнего страха уже вошел в него воспоминанием, из тех, что вгоняют в краску, когда бы ни настигло.

А-а, плевать, забудь... А Таня?.. Даже не оглянулась...

Он задыхался, словно из этой комнаты с низким потолком откачали весь воздух.

— Уехать к чертовой матери, — сказал он негромко.

Лев Семенович, перепутав последовательность, свирепо крикнул, а уж потом отпил глоток.

— Что у нас там? Огурчики только?.. Бедненько... Не то что у Витюши-Профессора: икра, бальчок, угорь... А равно приемники, магнитофоны, про джинсы уж молчу... Дары мирового сионизма на предмет помощи нуждающимся. Но Витюша — не дурак: мировой сионизм далеко, нуждающихся много, всем не поможешь...

Сипягин соглашался, хмыкал поощрительно, а сам все копался в записной книжке.

— Ага!.. Сейчас я тебе докажу. Слышишь? Сейчас увидишь, — он набрал номер Гнуса. — Молчат как рыба об лед. Стратегию вырабатывают... Совместную стратегию... Ну-ну, не возникай, — он небрежно отстранил Дмитрия, неловкой рукой ухватившего ворот его рубахи. — Ревнитель дамской чести сыскался... Переждем чуток и снова побеспокоим.

Лев Семенович таращил помутневшие глаза. Глянул на свой стакан, передернулся, однако сделал отчаянное лицо, крякнул и отпил глоток — треугольный кадык заметался от ключиц к подбородку, борясь с тошнотой. Он тряпично повалился на диван, поджал ноги калачиком:

— Вы — как знаете, а я — к Морфею, — но снова открыл глаза, чтобы сообщить: — Вот кричат: "Лучше быть красным, чем мертвым!" Это такие же в тридцатые решили: лучше быть коричневым... А мой родитель двадцать два года был красным — не спасло, дыркой в затылок наградили. Красный-не красный, а бушлаты на всех серые напяливают. А вы говорите...

Сипягин дернул щекой:

— Пророк. Докатились. Живет себе смирный человек, живет, хлеб-сало на навоз переводит, днем трудится, вечером читает какого-нибудь Анри Барбоса и вдруг немоготу — тошнит... Иду утречком — православные топчутся у пивной, а этот Лев Семеньч, сосед мой, по-ленински раскорячился на скамейке, как на броневичке, и аж посинел, надрывается: "Вечные евреи даны прочим преходящим народам во испытание: кому из народов скорее прейти. Жидоморская Германия поплатилась, теперь черед Польши. И Россию не минет, если не опомнится..." Хихикают, пальцем у виска крутят, но

один, смотрю, боком-боком и — к телефону. Я пророка за шкурку с броневичка, а он домой ни в какую — я, кричит, всю жизнь молчал, теперь правду хочу говорить, и первая моя правда: жена — гусыня!..

Сипягин приволок из спальни второй телефон, протянул Дмитрию трубку:

— Только не встрейвай.

На том конце провода Гнус процедил лениво:

— Слушаю.

Сипягин подмигнул Дмитрию, сказал веско:

— Из милиции. Старший лейтенант Князькин. Это квартира Хрусталевой Татьяны... э... Николаевны?

— Допустим.

— Попросите к аппарату.

— Ее нет дома.

— Ага. Тогда передайте, чтоб завтра в девять утра — в районное отделение, пятая комната. Вы кто, собственно, будете? Не муж случаем?

— Допустим, — спокойно донеслось из трубки. — А в чем дело?

— Это не для телефона... Так вы передадите ей просьбу — пока просьбу! — и, надеюсь, обеспечите явку?

— Боюсь, это невозможно. Поскольку она три дня как уехала. Отдыхает.

— Как это — три дня? — возмущенным голосом закричал Сипягин и снова подмигнул Дмитрию. — Ее сегодня видели. У меня свидетели...

— Клал я на ваших свидетелей с прибором! — голос Гнуса стал металлически звонким. — У меня свои свидетели!

— Хорошо, — зловеще протянул Сипягин. — Мы и до вас доберемся, — и повесил трубку. — Ну, как тебе это нравится?

**СОГЛЯДАТАЙ (III):**  
*взрослеете, молодой человек*

Кончив перебеливать, Сипягин взялся было за перо — править, — но передумал, потянулся к телефону.

— Дмитрия, пожалуйста... Это ты? Не узнал — голос у тебя севший какой-то... Ясно. Как добрался вчера? Головка бо-бо?.. Слушай, Пидарастыч не звонил? Дескать, посадили-не посадили?.. Ага, вчера еще. Так я и знал. Шустрый!.. Хочешь, я точней всякой цыганки начитаю, как он дальше будет действовать?.. Не хочешь? Дело хозяйское... Рассольчику хлебни — как рукой снимет... А Лев-то Семеньч смылся, не сказавшись. Я утром прокинулся — его и след простыл, только записка: "Спасибо, с вами было хорошо, но тоже тошно". Вот и вся недолга. Не угодишь, — Сипягин хохотнул в трубку. — Ну, пока.

\* \* \*

*В дверь поскребся кто-то, еще и еще — громче.  
Делать нечего, придется вставать.*

*— Минутку! — Дмитрий накинул на плечи одеяло, став подобием древнего римлянина с похмелья.*

Дверь медленно, как во сне, приоткрылась, в щель всунулась старушечья головка.

— Пелагея Трофимовна, — удивился Дмитрий. — Случилось что?

— Я на малую минутку, — заробела та и, чуть раздвинув щель, протиснулась, присела на краешек стула. — Вот ты, батюшко, — начала она тоненько, — давеча рассерчал на мово-то. Он сказывал, — подслеповатые глаза ее укоризненно прищурились.

— Я?.. Не помню, — сказал Дмитрий и тут же вспомнил. Действительно... вчера, что ли?.. в коридоре столкнувшись, глянул на него злобно — в смысле: мразь, крутишься тут под ногами!.. Тот даже шархнул, вжался в стенку. — Ну, не то чтобы... А и вы, Пелагея Трофимовна, сами посудите. Хоть бы с этими клязузами...

— Знаю, знаю, батюшко, — она замахала руками. — И не говори. Стыдобушка мне с ним. Так ведь горе у нас, — она тихо заплакала. — Письмо пришедши... Петюнчик-то наш... — достав платок, Пелагея Трофимовна высморкалась с неожиданной, трубной мощью. — Я, как чуяла, возьми да съезди о прошлом лете — проведать. Да-а, батюшко... И не узнала край-то родимый — весь удел под корень свели. И в улице пустым-пусто, одни ребятешки на хворостинах скачут, да Петька мой шлендает. Что ж ты, грю, не робишь, как народ честной? Аль у тебя кажный день престол — с утра в усмерть и к вечеру тож?.. Наежился, как мышь на крупу, молчит. Я грю, глазом-то не сверкай, не велик комиссар сыскался... Так Глафира, женка его, пишет: надрался в усмерть да под поезд и угодил. И поезд-то там в день раз всего стукотит, а на тебе!.. Главное, если б какой отстающий был, а то ведь и на гармошке

играл, и "Барыню" плясал, чуб во весь лоб, как выпьет, так стекла колотит... И только мы письмо получимши, тут ты на мово глазом, что ли, зыркнул, вот он мне и говорит: "Поди скажи соседу: виноватый я, и чтоб зла не держал". Ты уж прости его, грешного, не серчай.

— Ладно, чего там, — смутился Дмитрий.

А Пелагея Трофимовна вспомнила, уже уходя:

— Вчерась какой-то шутник звонил, важный весь из себя. Что там с Дмитрием, говорит. Были ли обыск?.. Какой такой обыск? — я ему. — Вон пришедши пьянехонек да спит, чай... Ах так, говорит. Ага! Это я, говорит, пошутил.

\* \* \*

Сбежал, догадался Виктор Модестович. Но догадки догадками, а точность важнее.

В милицию он позвонил из автомата — сперва его никак не хотели понять, потом что-то припомнили и связали с оперотделом. Жирный голос сообщил, что мертвый очухался, а преступник смылся... Тут голос спохватился, подсок: "А вы кто такой?"

Виктор Модестович от ответа уклонился и трубку повесил.

О воскресении убиенного он Тане ни словечка.

— Сбежал, говорит, преступник. А вы, спрашивает, кто? Может, свидетель? С ним какая-то женщина была — описать не можете?.. В общем, чувствую: затягивает разговор. То ли телефон мой пробует нащупать, — он выпятил губы, как деревенский дурачок, — то ли еще зачем, — он озадаченно почесал затылок.

Из коридорной двери падала узкая полоса света — на лицо его, на серый свитер, на кисть руки, короткопалой, сильной, надежной.



— В общем, ищут его, — подытожил он и потянулся к торшеру.

— Не надо, — мокрым голосом остановила Таня.

Звякнул стакан, из сумрака на него смотрели ее глаза — со страхом, с надеждой. Беззащитно белела тонкая шея.

— Давай-ка в постельку, киса, — он крепко обнял ее за плечи. — А может, сходишь к нему, выяснишь, что к чему?

Она отчаянно замотала головой.

— Нет, так нет, — как бы уступил он. — А что насчет Коктебеля? Недельки на две. Идет?.. Завтра же и устрою.

\* \* \*

Как и положено хорошему человеку, Дмитрий запил.

Память, растравляя сердце, услужливо подсовывала сценки из самых первых времен: теперь иные Танины слова, жесты, ужимки читались вдруг совсем по-другому, выстраивая грустный ряд, в конце которого фатально чернела дыра по имени Гнус. И все же, если бы не этот Гнус... Была же в ней эта пронзительная незащищенность, чистота...

На развороте тетрадного листа он вывел пьяной рукой: "Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят". Заклеил листок в конверт и послал Гнусу.

Израцовый обвал на фасаде то кукишем выставлялся, то кособокой задницей.

Иной раз к телефону подходил сыночек, отвечал заученно: "Нет и не известно, когда будет". Если трубку поднимал Гнус, Дмитрий просто молчал.

— Тебя еще не поймали? — издевался тот.

Дмитрий молчал. Но раз сорвался, заорал:

— А чего меня ловить? Это тебя, падлу, ловить надо! И жену твою!

Там помолчали, видимо, ошарашенно, потом раздалось почти с одобрением:

— Ого! Что-то новенькое. Взрослеете, молодой человек!.. Пора. Между прочим, по великодушию своему я предложил ей навестить вас. Причем без меня, тет-а-тет, как говорят французы. Представьте себе — отказалась... (Дмитрий слушал не дыша, сразу поверив.) И потому советую: не звоните. Не стоит. А не то рассержусь — настучу в ту самую милицию.

С тех пор ему расхотелось звонить — хоть бы сама Таня ждала у телефона. Однако из упрямства, из желания показать, что угрозы ему — тьфу, он еще пару раз набирал ненавистный номер и злорадно молчал. Гнус напрягался язвить, однако в голосе его дрожало тайное бешенство.

Но пришел день — и как рукой сняло. Вроде бы ни с того ни с сего: автобус дернулся, девчонку прижало к его плечу, и вдруг вместо "простите-извините" — яркая улыбка, с лукавинкой. Призыв к юному приключению...

Закатное солнце посверкивало в вечерних окнах Арбата, ветерок бодро щелкал предмайскими тряпичными призывами, весело бежали машины, навстречу шла, щуря мохнатые глаза, красавица с букетом желтых цветов... Мир был полон женщин и цветов... Шаг его стал пружинным. "Кончено-хватит! Кончено-хватит!" — маршево бубнилось.

И неделю он жил, словно не было всех этих лет, не только не было Гнуса, лагеря, но даже и Тани. Девать себя некуда, зато все впереди, за

каждым углом — надежда, в каждом девичьем лице — обещание. Но раз вечером в стекле "Праги", под сенью лакированной ветви фикуса — Гнус... К его спортивному плечу угодливо льнула официантка, сановитый толстяк — визави — почтиительно засматривал ему в глаза.

Как добрался до дивана, не помнил. На момент очнулся: заботливая рука щупала лоб, утирала полотенцем слюну с подбородка... Анна Михайловна.

\* \* \*

Отложив ручку, Сипягин потянулся, блаженно щурясь. Полистал, там и сям выхватывая строчку, словечко. Насвистывал, качал головой, одобряя: вполне ничего... очень вполне...

## ДЕЛА ВОКЗАЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ

Сипягин тормозил звонками, короткими набегами, соблазнами... Однажды ворвался:

— Давай, пропойца, сползай с дивана! Морду ополосни да ноги мне целуй в засос — сейчас я тебя на "Андрея Рублева" сведу. Сам-то я видел, так что для тебя старался. Вот они билетики-то, не куда-нибудь — в ЦДЛ, чуть честью своей девичьей не заплатил. Так что вставай-подымайся, вон морда-то как опухла... Там вся наша история, подлая, святая, кровавая — какая есть и другой не надо. А Рублев, я тебе доложу... В нем и Ленин, и Достоевский...

А то книги принес — не в подарок, а так, почитать. Одна — "Доктор Живаго", тамиздат, понятно, другая — вполне отечественного производства, свеженькая, еще липкая, пахучая — "Тля" какого-то Шевцова.

— Контрасты — залог здоровья. И мой совет: читай обе сразу, главку из "Тли" и тут же Борис Леонидыча главку. Это все равно как двух баб сразу трахать. Одна вся такая интеллигентная, "ах, поставьте мне сначала Брамса, я так люблю Брамса, а вы любите Брамса?", а другая — Мань-

ка гунявая, ноги в навозе, "гы" да "гы" и слюни пускает...

Шевцова Дмитрий, тут же пролистнув, над страничкой-другой похмыкав, вернул: "Вохровская писанина". А Пастернака, конечно, взял.

С "Рублевым" было легче — Сипягин то и дело локтем в бок подбадривал, не давал отключаться. А "Живаго"... Заставлял себя вникать, потому что раз Пастернак, то — надо. Интересно, конечно. Не без того. Вскольхнулось что-то, но — вымученно, надсадно, как... как в лагере онанируют на фотки далеких, таких безмерно далеких актрис. Онанируют не потому, что желание подпирает неволею, а чтобы пробудить, вымучить это бывшее, уже умирающее желание, память о нем подстегнуть...

Вскольхнулось и — улеглось. Важнее стали всякие мелочи: вдруг пропали болгарские сигареты "Сълнце", а других он не любил. И не только из-за вкуса — что-то было еще в этих белых плоских брусочках с крестьянской черно-красной вышивкой поперек и старославянским "ерь". Что-то от Веры Никандровны как бы... Или портвейн разливной: все ничего был, а тут полоса, что ли, разбавочная пошла — не столько портвейну, сколько воды. Хоть плюнь на этот разлив. А не хотелось — привык. Тем более что от проходной два шага: на работу ли, с работы — ноги сами заворачивают в кособокий домишко с зелеными наличниками и могучим вязом перед деревянным крыльцом. Конечно, углы заплеваны-заблеваны, высокие заграничного вида столы исцарапаны привычной похабелю, половина автоматов загублена стараниями протолкнуть в их чувствительные щели всякие посторонние железки... Но в безличности разлива, в доб-

родушных, мойдодырских мордах автоматов было нечто чуть-чуть нездешнее, успокаивающе-отвлеченное...

\* \* \*

Весна затягивалась в этом году, каверзно подражая легу дневным теплом, которое к вечеру покрывалось гусиной кожей, а к ночи вместе с людьми пряталось в дома. Днем почки набухали, трещали по швам, выбрасывали нетерпеливые побег, а те жухли, корчились от ночного холода, опадали, и множество крохотных трупиков чернело под деревьями. Но из осатаневших маток выползали все новые и новые побег, и самые хваткие, самые жадные из них выживали, и уже курчавились бульварные кроны, и липовый дух явственно подмешивался к городскому угару.

Ложился рано, часов в одиннадцать, первый раз просыпался в два-три ночи, второй — окончательно — в полседьмого, по будильнику. Но тут очнулся не пойми когда. Звенело в голове, и звонком этим наполнялась комната. Полоска коридорного света пробивалась в щель под дверь. В коридоре что-то шаркало, на кухне брякало — не сообразить: соседи уже встали или еще не ложились? Небо в окне не рассветно белесое, а густое, темное, процеженное сквозь радужное сияние, как это бывает уже за полночь. Язык и небо обложило шершавыми, даже на вкус беловатыми пластинами какой-то гадости, от желудка к горлу подступали кислые волны портвейна. Он включил свет — так и есть: без двадцати час.

Помочь ясное дело могла только водка хотя сейчас она обойдется раза в три дороже ночью преискурант особый чекушка в цене поллит-

ровки опять же такси на своих ватных до трех вокзалов и к утру не дотопать правда может на улице полегчает а тачку подхватить в районе площади Восстания хорошо что получку вчера выдали а без водки не обойтись всем телом вылезит эта портвейная экономия.

Долго ли он спал, а в мире многое сдвинулось: холод растворился, истаял, оставив в память о себе отмытые тротуары и особую пьянящую резкость еще недавно подмороженного воздуха. Город набухал преддождевым теплом, отсыревшие, распаренные стояли дома и редкие деревья. Даже звезды, казалось, набухают на глазах и тоже готовятся изойти то ли дождем, то ли зеленью.

Облезлый заячий треух обжигал голову. В карман его... Распахнул пальто, расстегнул ворот, но горячий банный пот все равно струился по груди и спине. Ноги не хотели идти. Хоть бы граммов сто, что ли, да чтобы холодная, и завалиться на скамейку...

У метро на Смоленской дремало такси. Плевать на экономию!..

Он высунулся из окна, окуная лицо в теплую темь. Без людей город похорошел, подобрел — безвредно спали амбразуры темных окон, сквозь стекла витрин миролюбиво таращились стройные манекены, в сырой тьме дворов копошилась, казалось, какая-то незлая жизнь. Но вот в высоком этаже углового дома на Самотеке резко вспыхнули два окна, ломко дернулась угловатая тень... Вспомнил, как о постыдном: где-то висело, ломая ночную незлобивость, и его окно — тюремный, голый свет, остатки ужина на столе, развороченный диван с вялой подушкой, комком несвежих простынь...

Угловые часы на Каланчевке, мелькнув мимо, успели показать без четверти два.

У трех вокзалов, как обычно, Москва ночная праздновала победу над Москвой дневной.

\* \* \*

“Банку” достал у дюжего таксиста. Спрятав трешку в карман, тот проехался по Дмитрию опытным глазом, оживился, придвинул изрытое оспой лицо:

— Слухай, паря, дырку надо?.. Свежачок, с комбината подмосковного — не балованная, значит. И недорого. Идет?.. А то, может, амамку? — он смачно похлопал губами. — Ам-ам... Усек? Которая ам-ам делает.

— Не интересуюсь, — грубо поспешил Дмитрий. И тут же пожалел — про стакан теперь уже не спросишь...

Отошел, однако, недалеко — вдруг стал, как споткнулся: подмосковный комбинат крутанул сознание, погнал воображение вспять... Но, слава Богу, нет — ничего близкого: приземистая деваха в плаще-“болонье”, подкралась к таксисту, толкнула в спину, тот дурашливо ойкнул, облапил ее — мелькнуло скуластое размалеванное лицо, весело растянутый рот...

Приложился к горлышку, еще и еще — вроде полегчало. Вернуться домой — и думать противно.

Было что-то около половины третьего, но какой год — это напрячься надо, по вторичным приметам уловить: вокзальное время, как всегда, показывало беду... С вокзала, казалось, не уезжают, а бегут, на вокзал — не приезжают, а спасаются. Особенно ночью. Даже прилично одетые



пассажиры обретают беженское выражение лиц, когда с чемоданами в руках и тихим помешательством в глазах пробираются сквозь толпу алкашей, проституток, надравшихся командировочных, пригородного люда с мешками и какой-то совсем непонятной ночной рвани. И вокзальные шлюхи разнятся от своих, просто уличных, товарок. Не тем даже, что замашками погрубей, лицами истасканней, одежкой обтерханней, — и это тоже, но еще и другое что-то в них мерещится. Словно любая — останови только, спроси — с воем и плачем поведает, как папаню на прошлой неделе раскулачили, а маманю пристрелили по пьяни то ли белые, то ли красные — в темноте не разберешь, — а вчера последнюю курицу прибил во дворе немец, фашист проклятый, а ее саму дачник-гимназист подпоил сладким ликером и ссильничал.

Все беды, прокатившиеся над страной в исторически обусловленном порядке, хронологически подтянутые, идеологически обоснованные, сбегали из времени сюда, в привокзальное пространство — неизбывные, сегодняшние, они лишь рядились в одежды и словеса канонизированного былого. Опадал вишневый сад, ревела музыка революции, стучали-стучали-стучали по рельсам "стольпины" — тощая девчонка, линялая, как застиранное полотенце, жалась к стене вокзала, пудрила украдкой синяк на скуле, стреляла глазом туда-сюда: от пинка увильнуть да на хлеб-водку разжиться... Свалив в кучу эпохи, ходили по кругу с полуночи до рассвета сегодняшние беды с видом жертв индустриализации-коллективизации, всех войн с их оккупациями-эвакуациями-реквизициями, а на рассвете они опять становились "страницами славной истории" или "пере-

житками прошлого” и его же ”родимыми пятнами”.

Описывая очередной круг, уткнулся в небольшую, но плотную толпу. Из центра ее доносились всхлипы, вроде бы мужские, и женский голос, властный, но с истерическими срывами. Протиснулся поближе — всхлипывал невидный мужичонка, не то чтобы совсем пьяный, а растерзанный весь, одичавший. С подвывом он рвал ворот рубашки, давился каким-то поездом, на который не то не успел, не то был с него ссажен, или тот шел не туда, а пальто у него украли, он его в карты просадил, потому сирота, баба моя померла, один остался, как дырка в гузне, и должен я, должен, спасители вы мои, к старухе на похороны поспеть, не на чужих же руках ей помирать, всю избу до последнего горшка соседунки растащут...

Словом, ничего как следует не разберешь, а только видно: человек в крайности, не обычный это алкашный театр — на чекушку подсобрать, — а настоящее, хотя и невразумительное, горе.

Мужичонка все норовил брякнуться на колени, куда его не пускала, ухватив за тряское плечо, крупнотелая женщина киношно-партийного облика — точь-в-точь Нонна Мордюкова: высокая, широкая, голова обмотана русыми косами, лицо открытое, равно энергичное и доброе. Велюровая шляпка сползла набок, но ей не до того: одной рукой придерживала пакеты, другой — мужичонку, приговаривая начальственно, однако с надрывом:

— Гражданин, встаньте с колен, гражданин... Вы же советский человек!.. Не смейте унижаться!

Но того неудержимо тянуло унизиться, он выскальзывал, бухался на асфальт, она рывком вздергивала его и в очередной раз призывала не оставлять человека в беде, проявить чувство локтя, не проходить мимо, свести в милицию или медпункт — она бы и сама, но поезд у нее, муж в очереди...

— Товарищи, ну, нельзя же так, товарищи!.. — и, видя, что товарищи лишь молча хлопают любопытствующими зенками, криком крикнула, зазвенела: — Русские мы или не русские?!

Такого оборота толпа не ожидала, дрогнула на миг, но все же не поддалась, благо налетел вдруг громоздкий дядька в распахнутом полушубке, гаркнул зычно:

— Катерина! Мать твою!.. Там поезд уходит, а ты, бля, агитацию разводишь! — подхватил Мордюкову со всеми ее пакетами и уволок в ночь, злобно матерясь на ходу.

Мужичонка так и остался на коленях, всхлипывая прежнее про поезд и похороны, но слушать уже было некому: опустело вокруг пространство, вокзальный люд — тертый, и не такое видывал... Дмитрий и сам отошел из первых, механически про себя повторяя:

— Русские мы или не русские? Вот в чем вопрос...

Часовые стрелки подбирались к трем. Чем арбатская одиночка — лучше зал ожидания. И на работу не проспишь, растолкают...

На Казанском пустых скамеек оказалось множество — видно, все ночные поезда уже поуходили. И мусоров не видно, один только дремал у буфетной стойки, подпирая шапкой таин-

ственное объявление: "Имеются в продаже чипсы и крекера".

Дремать-то он дремал, но только Дмитрий извлек бутылку — встрепенулся, скосил глаз. Пришлось — от греха подальше — тащиться на перрон. Глотнул, поперхнулся, закурил.

Пусты были пути и перроны, только одинокий унылый паровоз, астматически пыхтя, полз в депо, да огромный, в два этажа, портретный Ленин сторожил вокзальную пустоту. Под ним ветер надувал и выгибал транспарант: "Железные дороги — это гвоздь нашего коммунистического строительства". Гвоздь так гвоздь... Занозисто выражались отцы-основатели... Вспомнилась Вера Никандровна. Откинувшись на дырковатую спинку кресла-качалки, прижимая к груди "Краткий курс истории ВКП (б)", бабка сладко хохотала, и в такт ей мелко сотрясалось, подхохатывало кресло.

— Дьявольская пластичность у этого горца! Зачаточный русский язык плюс пламенное кавказское воображение — и каков эффект!.. Про Плеханова, например, как он после революции пятого года: "испугался и ушел в кусты". Представьте: Плеханов в своем пальто-рединготе, с тросточкой и надменной грустинкой в глазах, воровато озираясь, раздвигает кусты (я в этом месте непременно смородинник или крыжовник вижу — словом, из помещичьего быта растительность) и — шмыг! — туда...

Стала меркнуть зеленая лампа, цапли и китайцы растворились в предрассветно сереющей темноте, продувной перронный холод все глубже забирался под пальто. Дмитрий вздохнул и поплелся в зал ожидания. Хотел напоследок еще приложиться к горлышку, но не успел, так и

уснул с застрявшей в кармане рукой. Еще секунду-другую шевелились пальцы, придавливая жестяную пробку, и затихли, распрямились спокойно. И тут же, как декорацию в современном театре, спустили сверху кусты. Поколебавшись немного, кусты расположились рядом с буфетной стойкой, из кустов воровато высунулся Плеханов, осмотрелся и тихонько, чтобы не разбудить милиционера, вышел... Вообще говоря, это был Маркс, но Дмитрий, проникательно урезав ему клочковатую бороду, сообразил, что все-таки — Плеханов. И как только он это сообразил, из перронных дверей пыхнуло зеленым светом, и вошла бабка — старая, стройная, сухая, в белом гимназическом переднике, с беженским узелком в руках. Дмитрий счастливо закричал: "Вера Никандровна!" Плеханов перепугался и опять скрылся в кустах, милиционер, защемив Дмитрию локоть, не пускал к бабке, Дмитрий напрягся и последним отчаянным усилием — вырвался...

На скамейке сидела девчонка, прижимая к щеке, словно у нее прибалывал зуб, его четвертинку. На подбородке висела крупная водочная капля. Приветствуя его пробуждение, она бегло улыбнулась, запрокинула голову и отпила, не дрогнув, такой полновесный глоток, что Дмитрий за нее внутренне поперхнулся и разглядел: не такая уж она и девчонка — в жестковатой складке рта, в издерганной шее угадывалась взрослость.

— С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем, — без распева, серьезно сказала она и протянула Дмитрию бутылку.

— Чего уж там — допивай, не стесняйся, — не-

приятенно сказал он. — Что? Приворовываем помаленьку?

— Я? — удивилась она. — Да если б я... Не то что чекушку, штаны бы увела — не щекотнулся... Просто так сижу — жду, когда проснешься.

— Чего так?

— Интересно мне... Тебе что снилось? Лицо у тебя было... счастливое, что ли. Расскажи — я умею разгадывать. Ну?..

— Плеханов снился, — рассмеялся Дмитрий. — К чему бы это? Может, водяра подешевеет?

Она не поняла:

— Кто?

— Ну, Маркс, одним словом, — уже неохотно уточнил Дмитрий.

— Ма-а-ркс? — не поверила она. — Вот это да!.. — и, раздумчиво пробежав глазами по его лицу, прибавила: — Да нет, врешь, пожалуй. Никакой не Маркс, а женщина. Только старая. Покойница... Бабка твоя, что ли?

Дмитрий дернулся, но она, как бы отмахиваясь и от его удивления, и от расспросов, подмигнула озорно и продекламировала с выражением:

На Казанском на вокзале

Обокрали пиццетрест.

А на двери написали:

Кто не пиздит, тот не ест.

— Я тут в уборной вычитала, на стенке. Смешно, правда?

Ясное дело, сообразил он, во сне вякнул: "Бабка!" — она и подхватила. Водчонку отработывает...

Она сидела спокойно, свободно, как дома: одна рука, полусогнутая, на спинке скамейки,

в другой — бутылка, уже почти пустая. Покачивала ногой, словно на ней легкая туфелька, а не растоптанный фетровый бот... Пальто сползло с плеч — тяжелое, драповое, чрезмерное для ее роста и худобы. Да и все выглядело на ней чрезмерным: те же боты, обвислый свитер, чуть не до колен. Глаза, может, и не такие уж большие, казались непомерно огромными на скуластом, стянутом к острому подбородку лице. При всем том была она вполне миловидна, если бы не манера передергивать плечами, ежиться зябко, встряхиваться, как будто на нее все время сверху капает, внезапно закрывать и так же внезапно тарашить темные, неестественно блестящие глаза. Да еще волосы: не то длинные, не то короткие, много ли их, мало — не разберешь, змеюшник, а не волосы и, главное, пыльные, что ли... Таня и в худых туфлях ходила, а прическа — как у рекламных красоток. И запашок от этой какой-то казенный... Лекарства, похоже. Из больницы она, что ли?

— Вчера из диспансера, — спокойно подтвердила она и уточнила, опередив: — Не из венерического, из нервного. Мы его "хи-хи" зовем.

— А мне какая разница, хоть бы из венерического? — прозвучало даже грубей, чем хотелось, но все равно надо кончать это ненужное знакомство, да и на работу пора: репродуктор обещает солнечную погоду, стало быть, последние известия на исходе — минут десять седьмого... Хотя "хи-хи" все проясняет, эти угадки ее: у двинутых чего только не бывает...

— То есть как это "из венерического"? — она и оскорбилась, и удивилась. — Мы же к тебе домой сейчас... Или, скажешь, жена ждет не дождетя?.. Жены у тебя нет. И, — она запнулась, прищури-

лась, вглядываясь во что-то смутно различимое, потом прибавила совсем тихо: — И невесты тоже нет. Не так разве?..

— Так, все так, — разозлился он. — Никого у меня нет, угадала. Сирота я казанская, холостяк, бобылем живу, не на тот поезд сел и пальто украли, я его в карты прошпилил, а только все равно домой ко мне мы не пойдём. Понятно?

— Понятно, — покорно согласилась она. — Просто я тебе не нравлюсь.

Жалость и стыд ожгли — нашел на ком отыграться!..

— Тебя как зовут?

— Наконец-то догадался... Психа.

— Я как зовут спрашиваю, а не кличку. Мама с папой как тебя зовут?

— Назвали Надей, а зовут Психой... А тебя?

— Дмитрий... Понимаешь, дело не в том — нравишься-не нравишься... Я не вожу к себе. Соседи, и вообще... И потом — мне на работу к без четверти восемь. То есть — к восьми, — уже опасаясь ее, уточнил он.

Но она, казалось, не слушала: тихонько, на разные лады, вникая, примеряя на что-то, повторяла его имя, а вникнув и примерив окончательно, просияла:

— Хорошее имя... А на работу не ходи сегодня, раз не хочется. Обойдется как-нибудь, — она коротко рассмеялась, как всхлипнула, подалась к Дмитрию, опять обдав тошнотным запахом больницы, просяще заглянула в глаза. — Побудь со мной. Просто так, понимаешь?.. Очень прошу.

Сквозь окна в пятнах голубинового помета глядело мутное утро, не таившее в себе и золотника обещанного солнца. Очумело возились на лавках проснувшиеся пассажиры, через уличные двери



вливались новые, нервно устремляясь к перронным турникетам. Гнусавая скороговорка сообщила: "Скорый поезд... номер... прибыл... перрон... путь... на... опаздывает... отбывает... на... из... на... из..." В зал впорхнула стайка воробьев, таких же очумелых, взъерошенных, как пассажиры. Воробьи то шарахались под самый потолок, то панически сигналы вниз, бились с размаху об оконные стекла... Появился милицейский наряд, скалозубый, налитый утренним румянцем. Один, распахнув высокое окно, принялся шугать воробьев, другой, хозяйски окинув пространство, остановил вышколенный взгляд на Дмитрие и с Психой. Дмитрий тут же скинул ноги со скамейки, выпрямился выжидательно, но милиционер с чего-то передумал и тоже взялся за воробьев. Из-за буфетной стойки аппетитно потянуло закипающим кофе. Еще один день, безысходно серый, надвигался неотвратимо, как поезд.

— Ну ладно, пора отсюда смываться... Вставай, поехали, — неожиданно для самого себя решил он.

## ПСИХА

Прогноз все-таки не соврал — пока они добирались, распогодилось. Комната плавилась в солнечном сиянии и батарейном жаре, неистовом, как бывает к лету. Но только Дмитрий к форточке, Психа:

— Погоди малость, дай согреться, — как была в пальто, прижалась к батарее. — Это у меня от лекарств озноб.

Щеки ее медленно розовели, она с усилием приподнимала отяжелевшие веки, обводила комнату внимательным взглядом и, невольно следуя за ним, Дмитрий с обновленным омерзением созерцал свое постылое жильё.

— Здрóрово у тебя, — сказала Психа.

Вот это да! Она что же — из больницы не вылазит, забыла, как люди живут?.. Вслух сказал:

— Устраивайся. А я на кухне пошурю.

Пока чайник закипал, хлеба нарезал, открыл банку частичка, выковырял фольгу из плавящихся сырков... Психа лежала на диване, свернувшись узелком под драповым своим пальто, — спала. Он растерялся и озлился: она так до ночи

провалиется, а он и сам на ногах не стоит... Разве что на полу устроиться?

Пока злился, Психа уже, откинув пальто, улыбалась робко:

— Сморило меня. Может, помочь чего?

— Спи давай, отдыхай, — вдруг испугался он.

Солнце, остервенело лупившее в окно, заливало комнату, как старую баржу. Оно накрыло Психу с головой, растворило морщинки у губ, размыло черты лица — показалось: лицо утопленницы — без единой кровинки, замученное и совсем детское. Из-под задравшейся юбки тянулись худые ноги в нитяных, как у школьницы, чулках.

— Чего же зазя хороший день на сон переводить?

Она вскочила, вынырнула из солнечного потока, окунув голову в тень, — на скулах проступили пятна румянца.

Долго пили чай с плавленными сырками, черствыми до ломкости. Время вдруг придвинулось к полудню. Деньги у него были, но весело и старательно они зачем-то выгребли мелочь отовсюду: из пальто, телогрейки, единственного костюма, мрачно висевшего в шифоньере... Прозябавший под этажеркой замурзанный кот-копилка обещающе мяукнул, но подвел — выдал всего два пятака. Теперь в продмаг — того-сего к обеду да пару четвертинок. Можно и просто поллитру, но прозрачные кегли чекушек соблазнительней и невинней, словно в них не водка томится, а... скажем, прохладный березовый сок.

...Ни чайника, ни кастрюли, ясно, не хватит на обмывку даже такого бестелесного тела. Но выход нашелся, точнее — с самого начала висел тут

же, в кухне: оцинкованная ванночка, в которой его купали лет до восьми, ныне обобществленная — соседи, пока он маялся в остроге, не дремали... Итак, кастрюлю — на маленький огонь, ванночку — на большой и на две конфорки, ждем минут сорок, от силы — час. Мыло земляничное — вот оно, губка драная, зато натуральная — морская... Исподнее и юбку пусть простирнет, на батарее просохнет, а то и — в форточку... Выдать ей материн халат.

— Действуй, а то вода прокиснет. Я через час стукну в дверь. Идет?

— Зачем так долго? — рассмеялась. — На час я килограммов не наела, — и крутанулась перед ним всей своей нескладной худобой. — Кости ополоснуть — минутное дело.

Курил, с Анной Михайловной жизнь обсуждал, пирогов ее отведал, а только та с кухни, не утерпел — на цыпочках подкрался, нагнулся к замочной скважине: ванночка была маловата, вода выплескивалась на пол, образуя лужу, над бледными ягодицами Психи играли две ямочки...

— Эй! — крикнула, даже не обернувшись. — Не подглядывать!

...Она оказалась брюнеткой. Когда волосы просохли, выяснилось, что они еще и курчавятся. Крутые завитки падали на лоб, и Психа, поймав один, наворачивала его на палец, потом выпрямляла вдоль носа, вытягивала ниточкой усов под ноздрями, вдыхала запах прядки.

— Нюхни-ка.

— Точно, — подтвердил он. — Земляника.

\* \* \*

Она не спешила: фетровые боты аккуратно по-

ставила под этажерку — носок к носку, пятка к пятке, — повесила халат на плечики и еще одернула его, прежде чем пристроить в шифоньер... Спокойная деловитость — словно каждый вечер раздевалась перед ним. Он не знал, что обычно она разбрасывала свои вещи как попало.

Нашла удобное место там, где плечо неслышно переходит в руку — Дмитрий тотчас руку согнул, и Психа, не отрывая прижатого к ней лица, сухими горячими губами проехала от плеча до сгиба, устраиваясь понадежней. Устроилась и сказала:

— У меня в диспансере подружка, она меня Псишенькой зовет. А Псишенька по-гречески — душенька, правда?

И уснула.

”У нас в диспансере” — с такой естественностью, как ”у нас дома” или ”у нас на работе”. Он слегка ежился. Сперва потому, что раз диспансер, то — по привычке — туберкулезный либо венерический; потом — настороженность: как никак — стебанутая; и уж совсем потом ежился именно оттого, что не хотел, не мог верить в ее болезнь. И прозвище ее уже воспринимал как имя, не слышал ничего общего с кличкой ”псих”. Самое же странное: все эти ”сначала” и ”потом” приходились на неполные сутки. Но утро, с которого они начались, принадлежало одной жизни, а утро, которое теперь близилось, — другой.

\* \* \*

Проснулся он — точно его позвал кто-то. В душе колыхалась муть.

Осторожно, чтобы не потревожить Психу, повернул голову к будильнику — шесть. Голова

тяжелая, как с похмелья, хотя выпито было всего-ничего... Вчерашнее помнилось до последней мелочи, но забылось самое главное: с чего это он так воспрянул духом, с надеждами дурацкими разлетелся?.. Только стебанутой ему не хватает для полного счастья!..

Что-то равномерно хлестало снаружи об оконное стекло — дождь?.. Оказалось — вывешенная в форточку юбка. Траурный флаг...

Встал, оделся, на большом, чтобы сразу в глаза бросался, листе написал:

''Дорогая Надя! Мне было хорошо с тобой. Проключ не беспокойся — я сам часто забываю запира-ть дверь. Всего хорошего. Дм.''

Уходя, вырубил будильник — пусть все-таки поспит подольше.

Неприятностей из-за прогула не было, как и обещала Психа. Но и это не радовало. День тянулся кое-как, а кончился вдруг. В комнате прибрано, записка исчезла, на кухонном столе — вы-мытая посуда.

Он сразу завалился — отоспаться за двое суток. Проснулся среди ночи в тоске: ну, не идиот ли?.. Где ее теперь искать? На вокзалах?.. И адреса не оставила... Да и что она могла оставить после та-кой записки?!

Как ни повернись — все неловко: на боку, клубком, навзничь... Надо считать до тысячи...

Очнулся, как от солнца в глаза. И было от че-го — на стуле возле него сидела Психа.

\* \* \*

В ее рассказах все странно и... как на ладони. Не биография — история болезни, а в сущности — история нелюбви. Мать — завуч в ремесленном

училище. Отец — инвалид войны, а после — растущий инструктор райкома. Когда узнал, что жена беременна, ушел из дому, но был водворен назад — через парторганизацию. Психа считала, что неродной...

Убегать из дому начала рано, едва вообще ходить научилась.

— Куда?.. А никуда. Что значит "никуда"?.. Ну, за облаком, к примеру... Помню, из школы возвращалась — улицы серые, дома серые, небо тоже. Только в одном месте, прямо надо мной, в небе дырка и оттуда — розовый глаз, веселый. Я иду — он за мной, я бегом — он по небу прыг да прыг! Спрятался и опять выглянул, но уже не веселый, а багровый весь. Я — в рев, в крик... Очнулась дома, за столом милиционер, чай хлещет. А как ушел — меня за волосы... Я им про глаз, а меня по морде хрясь да хрясь!.. А то как-то на вокзале очутилась, смотрю — звонкое такое слово написано: "Звенигород". Цепляюсь за всех, кричу: я из Звенигорода, бабушка у меня там живет, везите меня к бабе Варе! Ну и отвезли... Чего смеешься? Ты где тогда шлялся, умный такой? Почему тогда на вокзале не подобрал? Удочерил бы... Ну и что, что всего на восемь лет старше?.. А бабушка моя померла, когда мне и трех еще не было. От нее всегда теплым пахло, а еще — шерстяным чем-то и травным.

В первый раз ее сдали в больницу лет в двенадцать. Она сбежала домой, ее вернули, опять сбежала и вновь вернули. Смирилась, признали здоровой, выписали и целых четыре года не трогали. Успела кончить семилетку и получить первую зарплату на картонажной фабрике... Из-за этой зарплаты и сорвалась — не отдала отцу:

— Буду копить на диван. Надоело на раскладушке — я уже не школьница!

Он:

— Нет у нас места для дивана. Стол из-за тебя выбрасывать? Он же дубовый, бля!..

Она — за молоток и, прежде чем отец выкрутил руки, дважды въехала по столу. Мать вызвала санитаров... С тех пор, если удавалось улизнуть из больницы, дома не появлялась. Жила где попало, раз даже полгода работала уборщицей в школе — почти задаром, зато документов не спрашивали. Учитель физкультуры устроил. У него и спала, пока супруга не вернулась от любовника.

— Сколько мужиков одиноких, несчастных, ты и представить не можешь... По квартирам, да, а то и по парадным случалось, в парках тоже, а раз и на кладбище... И пить тогда же приучилась... Знаю, что больно, мне и самой за тебя больно... За себя? Н-не знаю... Ну, конечно, лучше бы этого не было, а уж теперь никогда и не будет. Знаю, что веришь... Но только... видишь ли, все это не совсем так, как ты себе представляешь, как обычно про это говорят... То есть, конечно, все так: водка там и все прочее, и утром стыдно просыпаться, на чужого человека глядеть, особенно, если пожилой... А все-таки не бывает, чтобы совсем без любви, ну хоть одна минуточка, самая крохотная — обязательно. Вот ради этой одной минуточки, а не ради водки, честное слово... А водка — так, чтобы страшно не было... Забуду, непременно забуду, все, что скажешь забыть — забуду, ты меня только не забывай...

\* \* \*

И таких ночных разговоров набралось у них почти месяц.



## В СКЛИФОВСКОГО

Ветерок шевелил занавеску, по потолку шарящей дугой пробегал свет автомобильных фар. Дмитрий на ощупь сунул сигарету в пепельницу, прижал ее, покрутил, чтобы погасла.

— Знал бы ты, до чего не хочется возвращаться, — жалобно сказала Психа. — Там и вообще-то страшненько, а сейчас тем более — кажется: вернусь и уже никогда не вырвусь...

— Дурочка, именно теперь тебя и выпустят скорей... Сама вернулась, во-первых. Потом — не ершись там, как договорились. Ну, и от работы не отбрыкивайся. В общем, разыграй паиньку.

— Придется, — голос ее звучал покорно. — Только бы не начали аминазин колоть... Но куда же денешься? — она вздохнула.

— Надо, милая... Как-нибудь уж перемучайся. Тот же Пузииков... Поди знай, какая ему завтра шлея попадет под хвост — настучит, а ты без документов...

— Ну ладно, вернусь я с документами, а ты меня сразу на работу погонишь — кровать вон надо купить, да то, да се... Тарелок вон всего уже две штуки осталось. А мы к работе не привычные, мы в жисть ничего тяжелее хуя не поднимали...

Дмитрий разозлился:

— Слушай, мы же договорились!

— Все, все, Митенька!.. Само вырвалось! — и она прижалась к нему всеми своими косточками.

\* \* \*

В безлюдной дежурке — до белизны отмытый пол, едкий запах хлорки и плакат: "Труд — лучшее лекарство". Под плакатом прищиплена полоска ватмана: "Родственники! Свиданий нет. Карантин".

И в следующее воскресенье — та же хлорная вонь и тот же карантин.

Надеясь, что Психа его высмотрит, окликнет, он дважды обошел вокруг красного корпуса. Окна двух нижних этажей закрыты и замазаны известкой, выше — кое-где отворены, за проволочным ситечком угадывались серые пятна лиц. Но — ни оклика, ни взмаха... С расстройства отправился к Сипягину, благо от Стромьнки до Черкизова рукой подать. У него и заночевал.

А утром на работе, только влез в спецовку, подшаркала уборщица: Петр Яковлич бегом требуют.

Петр Яковлевич, начальник цеха, сидел на подоконнике, смотрел сердито.

— Пусть сперва с обмоткой кончит!

— Сказано: срочно! — кадровик изобразил значительность, что ему легко давалось, стоило лишь покрепче сжать челюсти — глаза сами собой обретали холодный прищур, губы вытягивались в нитку, дряблые подщечные мешки наливались сановной багровостью.

— Милиция-хуиция!.. Тот на бюллетне, другой в запое, а фрезерный стоит, мать вашу! — начальник махнул рукой и харкнул в окно. Он всегда

плевался, когда нервничал. За окном замер, словно зажмурился от полуденного солнца, пыльный тополь.

Дмитрий весь напрягся: что-то с Психой, и что-то ужасное.

— С милицией лучше не ссориться, — кадровик обратил изучающий взгляд на Дмитрия. — Чего они тебя?

Дмитрий изобразил недоумение.

— Ну ладно, дуй. Твоего района милиция. Знаешь где?.. Седьмой кабинет. Да повестку пусть дадут — для отчета.

Дверь с семеркой на дерматиновой обивке оказалась запертой. Коридор пуст — спросить некого.

— Вот тебе и срочно! — сел на деревянную скамейку под приказом: "Не курить" — и закурил.

Из-за неплотно притворенной двери под номером девять неспешно сочился сытый басок:

— А я ему: запомни, гражданин хороший: жизнь, как детская рубашка, — короткая и оборванная. Непродажных нет, а есть кого не покупают. Тут он мне, — басок сменился глуповатым тенором. — Как вы смеете сказать?.. И чистоплюйство эдакое на личике, знаешь, как бывает, когда еще жареный петух в попку не клевал.

— В клоповник его, мудака, — поддакнул второй голос, не такой сытый и густой, но тоже вполне уверенный, как у всякого, допущенного к зафасадным истинам. — На пару годиков. По-другому запоет.

В восьмом кабинете грохнуло, рассыпалось стеклянно, скрипевшие не поймешь о чем мужские голоса взорвались ненавистью. И тут же по коридору грузно протопал мордатый милиционер, заранее яростный — сельский пушок на румяных щеках затвердел щетиной. Дверь

на миг распахнулась — полоснул вскрик: "Никогда!" Щелкнул замок, потом — шум возни, пыхтение, топот, и тот же голос трибунно зазвенел, обличая: "Варвары!" Мгновение спустя опять — придушенное, но все еще гневно-обличительное: "Варвары!", снова пыхтение, как в борцовском зале, и теперь уже еле слышное, умоляющее: "Варвары... ну, варвары, пустите же", и — тонкий плач взхлеб...

— Громов? — услышал Дмитрий. Перед ним стоял молоденький лейтенант, роста так себе, ниже среднего, и какой-то сдобный, как колобок из детской книжки. — Пройдемте в кабинет.

\* \* \*

— Что с ней? — сразу начал Дмитрий.

Лейтенант посмотрел строго:

— Не все сразу. По порядку. Кем вы ей приходитеесь, Надежде Семеновне Стромилиной?

— Да какая разница? Что с ней? Она жива? Вы мне только слово скажите: жива?

— Да, да, жива! — тоже закричал лейтенант, раздражаясь, что допрос идет не по инструкции. — А теперь я буду спрашивать.

Главное — жива. Он облегченно вздохнул и закурил.

— Так кто вы ей? — лейтенант взъерошил белобрый ежик. — Друг, жених или, как говорится, просто сожитель?

— Друг и... жених тоже, — выдавил Дмитрий и поморщился от этого парикмахерского слова. Набраться терпения: лейтенант, похоже, новичок, еще не заматерел, еще благоговеет перед недавно вызубренными инструкциями, с таким препи-

раться — только время терять. Пусть уж лучше скорей закончит всю эту формалистику.

— Так, жених, значит, — отложил тот ручку и озабоченно выпятил толстые губы. — А как же вы, жених?.. Вот соседи показывают: она у вас жила, а вы что же, не знали, что она без документов, и вообще — из психушки сбежала?

— Так она же вернулась.

— Ага, — лейтенант откинулся на стуле, отдуваясь, пухлые его щеки рдели, как у кустодиевской купчихи. — Отличненько. Значит, это вы ее уговорили вернуться? Так?

— Мы, собственно, вместе решили.

— Понятно... А то, что она обратно сбежала, вы в курсе? Виделись с ней вчера, например?

— Нет.

Видно, ее поймали, нашли мой адрес — отсюда и вся канитель эта. Но не слишком ли? Вот, говорит, и соседней опрашивал... Нет, похоже, что-то серьезное...

— При каких обстоятельствах и когда вы с ней познакомились?

— Случайно, в конце апреля. На улице...

— Что значит "случайно"? Вы ведь тогда зашибали?.. Может, она к вам приставала? Мы ведь в курсе, ее выходки — секрет Полушинели... Приставала? Насчет выпивки там или еще чего?

— Ничего подобного, — ответил он со всей возможной твердостью. Но показалось: лейтенант уловил нарочитость этой твердости... Сейчас начнет уличать, припирать к стенке... Однако — нет: тот даже вроде бы обрадовался.

— Вы, — собрался с духом Дмитрий, — задержали ее? Опять в больницу?

Лейтенант отложил ручку, выпятил губы, решая, сказать сейчас или попозже.

— Да, — решил он наконец, — она в больнице. В Склифосовского.

— Да что с ней, в конце концов? — Дмитрий вскочил на ноги. — Почему не скажете толком? Жилы тянете!..

— Успокойтесь, — лейтенант тоже встал и начал рассказывать по кабинету, ероша рукой ежик. — Я вас заверяю: виновные будут... по всей строгости советского закона.

Дмитрий опустил на стул.

— Мы их, можно сказать, нашли. У главного зачинщика окно выбито, вот и... Сразу запел как миленький. Все они такие, — презрительно обобщил лейтенант. — И уже папы-мамы ихние называют. Правда, главного этого... Ему Водила кликуха... Так его родителей пока еще, слава Аллаху, нет — в загранкомандировке. А у сопляка уже и деньги свои, и целая квартира в наличности — гуляй, не хочу. Я с матерью и дедом на двенадцати метрах жил... И хитрый уже: "Она сама к нам приставала!" А двое — сговориться то не успели! — что о н и ей предложили выпить-повеселиться. Они, а не она! Это важно, поскольку меняет картину, хотя нам известно, конечно, что в прошлом она допускала себя... напрашивалась. Но — в прошлом, а после знакомства с вами... завязала. Можем мы так сказать? — он остановился напротив Дмитрия, но тот даже не кивнул в ответ. — Значит, такая картина имеется. Сбежала из больницы... Почему и как — выясним. Вас дома не застала и... что же ей делать? Ведь если сбежала, значит, у нее снова начался псих, приступ этот. А вас нет и нет, а тут эти молодчики: "Давай выпьем, повеселимся..." Ну, и согласилась. И дождь к тому же. Так я понимаю... Ну, надрались, как колхозники, и ее на-

поили. Тут она сама виновата, поскольку дураку ясно — в компании кобелей одна... Ясно, зачем они зовут. Хотя и больная, но не настолько ведь, чтоб таких вещей не понимать. Но это — тут я с вами полностью согласен — вины с них никак не снимает, потому что одно дело — добровольно, другое — силой... Она ни в какую. Ну, избили, связали и стали по-всякому надругаться. Причем этот Водила — садист-садистом: она давай проситься, чтобы отпустили, так он ей силой коньяку в горло, полбутылки. "Сперва, — говорит, — убери блевотину". Они там все облевали, фужеры хрустальные побили. Я осматривал: замьго кое-как, а все равно видно, и осколок фужера под диваном. А на стене апельсиновый сок пятнами — забавлялись: пуляли апельсины в выключатель, кто попадет... Я помню... Я самто владимирский. Так помню, уже парнем был, уже вот в Москву собирался учиться, так раз по нашей улице дядька с авоськой шел, а в ней эти оранжевые мячики. Мы и рот раззявили: что за чудо такое?! Но это к делу не касается.

Убери, кричит, все, тогда отпущу. Она: "Нет!" Он — по спине ремнем и в блевотину эту лицом тыкать. А те ржут... Хлещет и кричит: "Ты — мразь, плебей (это такие рабы в древнем мире были) ... должна аристократу руки-ноги лизать". Тут она ему в морду — харк!.. Хотела укусить еще, да увернулся. А жаль — сейчас бы имели бумажку от медэкспертизы... В общем, взбесился, сейчас, кричит, в толчке утоплю, и тащит ее в уборную, а она как-то развязалась, вырвалась и — в окно с шестого этажа... Да нет, нет — жива, я же сказал! Там как раз ремонтные работы — леса стоят. Правда, только до четвертого этажа, а то и вовсе обошлось бы. А так она все-таки...

К тому же леса почти без настила — знаете, щиты такие деревянные кладут... Должны класть, точнее... В общем, она сперва на леса упала. И еще ей везуха — окно было открыто, а то бы голову порезала. Но хорошо, что она его все-таки кокнула — локтем там или как. Я только приехал — ага, ясенько!.. А родителей ее тоже нет — в Крыму. Мы их телеграммой вызвали. Смотрю — в кармане у нее ваш телефон на бумажке...

\* \* \*

Он все же прорвался к дежурному хирургу, но почти ничего из его объяснений не разобрал — слушал, да не слышал. Понял только, что сразу после операции Психа чувствовала себя сносно, а потом стало неизвестно почему хуже, так что сейчас к ней ни в коем случае нельзя. Хирург отводил изъеденные острым недосыпанием глаза, на белой курточке вместо пуговицы — второй снизу — торчал пучок рыжих ниток.

Весь вечер и всю ночь Дмитрий просидел в приемной, зажав руки меж колен, раскачиваясь взад-вперед, как молящийся еврей.

— А ну-ка, гражданин, в сторонку как-нибудь, — услышал он хриплый голос — перед ним стояла, опираясь правой рукой на швабру, а в левой покачивая ведро с черной водой, уборщица. Дряблый ее подбородок неодобрительно вздрагивал. Приемную заливал солнечный свет, мокро блестели коричневые квадраты свежесмытого пола.

В уборной он наспех выкурил сигарету, сполоснул под краном лицо и кое-как осушил его носовым платком. Шпингалет затек краской и не



сразу поддался, Дмитрий раскачал раму, рывком распахнул окно. Утренняя свежесть разом потеснила, кольхнула настой хлорки — пахнуло вязкой горечью желтых одуванчиков, с карниза сорвалась воробьиная стайка, волной подступил городской лязг. Окно выходило в глухой больничный закоулок, в зарослях крапивы и курослепа краснели обглоданные ржавчиной остовы каких-то железных конструкций вперемешку с грудями серого кирпича. В расстегнутый ворот рубашки пробрался зябкий ветерок, Дмитрий вздрогнул, еще и еще раз, и уже не мог остановиться — затрясся, закусив губу, давясь всхлипами, пока беззвучные схватки не перешли в громкое рыдание.

Едва в приемной он сел на скамейку и уже привычным жестом сунул ладони меж колен, подошел санитар: что-то совсем непредвиденное случилось, пришлось оперировать вторично... в общем, если он хочет проститься... она зовет. Дали халат, кто-то завязал сзади тесемки.

Психа сразу увидела его и уже не спускала глаз, слабо лучившихся каким-то гаснущим светом. Ее губы чуть приметно вздрагивали, словно сиюсь что-то выговорить. Дмитрий наклонился, осторожно коснулся губами щеки. "Прости", — расслышал он шелест ее шепота и улыбнулся ободряюще. Ее лицо расслабилось, успокоилось, она облегченно вздохнула и закрыла глаза.

Суетились вокруг белые халаты, какие-то трубки членисто липли к ее рукам, нелепо было вот так стоять, согнувшись крючком, но присесть на край койки боязно — не потревожить бы Психу.

Веки ее снова дрогнули — в глазах темнела тревога.

— Ты его нашел? — прошептала она и страдальчески сморщилась, уловив его растерянность.

— Я только сегодня... то есть вчера узнал. Прямо с работы в милицию, — он прикрыл ладонью рот, чувствуя, как расползаются губы, отвисает и дрожит подбородок. — Они там ищут... Это все не важно... Забудь. Главное — выздоравливай скорей... — смешался он, не зная, что сказать, чтобы исчезло из ее глаз осуждение.

— Эх, ты-ы-и... — почти громко протянула Психа, и глаза ее закатились, все зримее наливаясь молочным, с просинью, тусклым блеском.

Вот-вот случится что-то непоправимое. Надо сейчас, скорее сказать, успокоить — потом будет навсегда поздно. Он забормотал потерянно, объясняя, успокаивая, оправдываясь, обещая... но тут его взяли за локоть и вывели, озирающеся, в коридор.

Спрашивали какие-то документы и про ее родителей — он не понимал, все еще видя ее осуждающий взгляд и слыша этот мучительный выдох: "Эх, ты-ы-и..." Морщился, как от зубной боли, тряс головой и бормотал себе под нос, объяснял и клялся... Кто-то в белом, крепко обхватив его за спину, довел до дверей.

\* \* \*

Вроде бы он долго сидел в каком-то сквере, потом, кажется, стоял в очереди у пивного ларька... Или наоборот — после пива накатила приступ обессиливающей дурноты, и он сидел, скрючившись, на скамейке в сквере.

Очнулся с ключом в руке — тот никак не вставлялся в скважину. Из кухни вышмыгнула Пузикова, протянула листок с телефонным номером:

— Из милиции. Велели, как придешь, позвонить, — блеклые глаза ощупывали Дмитрия с сочувствием и любопытством.

— Да, да, — сказал усталый голос давешнего лейтенанта. — Где вы пропадали? Я уже в курсе насчет безвременной кончины. Примите мое... что я разделяю горе... Вы вот что — зайдите-ка прямо сейчас, надо кое-что уточнить.

Оказывается, было уже четыре часа пополудни. От усталости тянуло повалиться хоть на пол, но он из чайничка, прямо из носика хлебнул холодной заварки и побрел в милицию.

Лейтенант опять было полез со своими собοлезнованиями, но Дмитрий остановил его:

— Кто?

Тот понял сразу.

— Вообще-то не рекомендуется, во избежание... Да и зачем вам?.. Но хорошо, хорошо, я скажу, только уж об адресе не спрашивайте... Водила — это некий Виктор Хрусталеv.

Дмитрий похолодел. Еще вчера что-то подгалкивало его к догадке — если бы ему вообще до догадок было, если бы не боль, застывшая туманом сознание...

— Что с вами? — наконец вник лейтенант в его глухоту.

— Ничего, — опомнился он и сделал внимательное лицо.

— В общем, такой трезвон подняли — пришлось отпустить, взяв подписку о невыезде. Короче, боюсь, откажутся от своих показаний. Будут гнуть линию: ей нет веры — психическая, сама предложилась, знаете... Ну и спяну — в окно. Да еще подучат их, якобы я угрозами вырвал показания... Только хрен им на постном масле! Я на своем упрусь. Мне выговор не нужен. Как же,

первое серьезное дело и вместо благодарности — я же ночи напролет!.. — пожалуйста, выговор!.. Я ведь почему с вами напрямую, — лейтенант пристально и со значением заглянул Дмитрию в глаза. — Во-первых, из сочувствия, а потом — с расчетом: у меня теперь вся надежда на вас. Надо, чтобы суд почувствовал, что вы говорите правду, именно вы говорите правду... И.. в общем, надо еще довести дело до суда. Так что давайте все подробности.

Ломило в висках, глаза закрывались от усталости.

\* \* \*

Почудилось какое-то шевеление, он откинул одеяло — на стуле, растопырив толстые колени, сидел Сипягин.

— Очнулся? — в голосе забота. — Болеешь, что ли? Я стучал, стучал — молчок, а потом смотрю: дверь-то открыта... Да, браток... Я только что с допроса. Вызывали...

Дмитрий вмиг все вспомнил и не удержался, застонал.

— Да, старик... — снова сказал Сипягин.

— Сколько времени? — вскинулся Дмитрий.

— К обеду движется... Ты куда?

— Надо позвонить в Склифосовского.

— Лежи, лежи. Я звякну. Насчет тела, что ли?.. Вряд ли. Лежи.

Чего это он меня за больного принимает, удивился Дмитрий и пощупал лоб — температуры вроде не было, хотя в висках ломило, как вчера.

— Встал все-таки, — укорил Сипягин. — Зря... Дозвонился кое-как. Бесплезняк: тела, говорят,

выдаем по утрам, с девяти до одиннадцати, и только родственникам, с документами и так далее.

— Ясно... Выпить не найдется?

— Чего-чего, а такого добра... — Сипягин нагнулся к портфелю, притаившемуся у ножки стула.

Дмитрий достал из буфета хлеб, масленку, открыл консервную банку и вывалил кильку на тарелку.

— Поизносился ты, — Сипягин кивнул на щербатую тарелку. — Помнишь, блюдечко у нас было с мухой посередке? Еще ты в первый раз хотел ее смахнуть, до того живая?.. Бабка хоть и плевалась: мещанство, купеческие утехи, а сама всю жизнь его берегла. Наверное, память о чем-то... А я его кокнул с переездом этим.

Дмитрий молчал.

— Ну что ж, — Сипягин поднял стакан. — За упокой души, как говорится.

Дмитрий болезненно сморщился:

— Давай помолчим.

Закрыв глаза, отвернулся, осушил стакан, сунул его, не глядя, на стол — грохнула об пол тарелка с килькой.

Сгребая осколки и рыбью размазню, он прятал слезы в шварканье совка и веника.

**СОГЛЯДАТАЙ (IV):**  
*Дон-Кихот в прокуратуре*

Не так уж и жарко было, но Сипягин тяжело отдувался, широкое его лицо истекало потом.

— Сулили мокрень, а смотри-ка... — пыхтел он. — У тебя еще ничего, хоть дышать можно. Одно слово — старая кладка. А в моей коробке стены — курам на смех. Нежданчик вырвется — соседи знают, что у тебя на обед было.

Он скинул сандалии и завалился на диван.

— Ну, что с тобой приключилось?

— Ничего особенного. Хотя... — Дмитрий задумался на миг. — Пропали куда-то два дня, как и не было их. Мелькает иногда: вроде бы на поезде ехал. Но куда, зачем?.. В общем, очухался в тридцатом отделении, около Преображенского рынка.

— И Преображенского кладбища тоже.

— Ну да... Думаешь, я к своим на могилу ходил? Может быть... Ты знаешь, — вдруг разозлился он, — ты кончай эту свою душеведческую приглядку.

Сипягин миролюбиво улыбнулся:

— Все, кончил.

Дмитрий помолчал с минуту — справился с раздражением.

— Короче, дежурняк рассказал: ночью тормознули меня на улице, а я без документов и как звать-величать не помню. Ну, врезали по боку — вспомнил. Да пятнадцать суток вклеили. Для закрепления памяти.

— Дели-и-шки. Но ничего, могло быть и хуже. Я даже думаю, тебе такая встряска на пользу — вроде шоковой терапии... Чего опять скуксился? Или я не то говорю?

— На пользу... Что я — Иванушка-дурачок, что ли? Его и так, и сяк, и наперекосяк, а ему хоть бы что, только щеки румянцем наливаются.

— Именно, — зашелся Сипягин, живот его кольхался от смеха. — Так бы и надо — по народному принципу: нас ебут, а мы крепчаем... Тут нам посконная мудрость явлена, а мы высокомерничаем, нос воротим. А зря... Кстати, что у тебя с работой?

Дмитрий усмехнулся:

— Экий ты все-таки... Работа тю-тю — по собственному желанию предложили. И то хлеб, могли бы и по сорок семь гэ турнуть: три прогула, плюс пятнадцать суток.

— Ну и? Ищешь что-нибудь?

— Пока — перекур, а там видно будет, — уклонился Дмитрий. — Ты лучше спроси, как следствие идет. Ведь тебя про это тянет спросить? Так?.. Вижу, что так. Поясняю: никак! Дело прикрыли, лейтенанта Васикова — на повышение, в Тьмутаракань какую-то...

Он болезненно сморщился, прислушиваясь к чему-то внутри себя.

— Ты чего? — насторожился Сипягин.

— Мотор барахлить стал.

— Бывает... Ну и?.. — Сипягин осторожно перевел дыхание. — Планы вынашиваешь?

— Вынашиваю, — просто ответил Дмитрий.

\* \* \*

*Я его и эдак, я его и так — глаза у него мертвые. Надо его как-то ошарашить, выбить из унылой колеи.*

*В тот раз, после Тани, лицо тоже замкнулось, закамелело — я боялся: суициднется. Но — было и былшем поросло. Конечно, греет его мысль о мести, только она одна, может, и держит его. Да ведь месть-то ему не тово, не по плечу. Все вянет под пеплом рефлексий и совестных содроганий. Коли есть совестьшка, то понимаеишь: ночные кошмары замучают. И потом: человек норовит самореализоваться. Как бы он ни падал, таит мечту когда-нибудь воспрять и осуществиться. Если же на тебе кровь — это такой груз... Его не сбросишь. И — прощай мечта высоко осуществиться. А без нее мертв духовный человек. Но и отказ от мести — в сущности, трусость. И это жизнь с постоянным разъедающим знанием о себе, что увильнул, струсил — скольжение вниз, все ниже и ниже... Но Дмитрию в грязи не улежать. Что остается?.. Боюсь: самоубийство.*

*Кругом у него тупик. Утрачен вкус к жизни, и даже самый смысл ее.*

*Вон на столе у бедолаги заявление в прокуратуру. Результат и дураку ясен. Утопающий цепляется за соломинку, чтобы... утонуть с чистой совестью. Так и вижу эту сценку: Дон-Кихот в районной прокуратуре.*

\* \* \*

*Обшарпанные стены казенного бурого цвета, окурки и плевки в углу. Присесть негде — единственная скамейка оккупирована двумя стариками с шашечной доской. Вдруг смерклось, и в*



потемневшем окне залоснилось отражение двоицы, мрачно двигавшей шашки. За окном повисла грязная лохматая туча, смачно врезались в пыльное стекло первые капли, миг опустел перекресток. Только машины и ветер, подхватывающий еще не прибитые дождем обрывки газет, папиросные коробки, конфетные обертки... И ни души. Что-то в этом пугающее, словно перекресток этот привиделся во сне и вот-вот нечто ужасное, неминуемое грянет...

Секретарша (почти школьница, влажный блеск беличьих зубов) : Громов, пройдите.

Прокурор (костистый, с геморроидальной желтизной, слушает вроде бы вполуха, то и дело отворачивая к окну горбоносый профиль скучающего Мефистофеля, однако сухие пальцы выбивают о стол нервозную дробь) : Я помню это дело. То, что вы так горячо изложили — всего лишь версия следователя. Человек он, вроде вас, молодой, увлекся, принудил несовершеннолетних... Позже они дали правдивые показания... Заключение повторной экспертизы полностью опровергло выводы первой, проведенной небрежно, наспех. То есть подтверждается, что гражданка Стромилина имела в тот вечер половые сношения, но изнасилование отпадает.

(За окном глухо прокатился гром, словно рык допотопного зверя, и все стихло. Но тут же польхнуло зловеще-синим, и совсем рядом ударил сухой треск.)

Дмитрий (поднялся со стула) : Ловко!.. А если я представлю вам доказательства? Будет ли вновь открыто дело?

Прокурор: Какие доказательства? (На миг в цепких глазах — настороженность, но тут же он вновь заскучал лицом.) Конечно, если это будут

*веские доказательства. Только... (бескровные губы презрительно сжимаются)... зачем вам это? Знаете русскую пословицу?..*

*Дмитрий: Насчет дурака, который ищет правды, а умный покоя?.. Так считайте, что я тот дурак.*

## СУПЕРКРЫСА

Ну ладно, пойду я в прокуратуру, и что?.. Чтобы услышать, что умный ищет покоя, а дурак правды?..

С утра хмурилось, но к обеду тут и там заголубело, прорвалось на минуту солнце, и в лучах его засверкал мелкий бисер грибного дождя. Дмитрий прислонился к липке, рядом молодуха прижимала к толстому бедру девочку лет пяти.

— Она у меня карандашик уворовала, — плаксиво пожаловалась девочка.

— А ты у нее обратно уворуй, — наставительно утешила толстуха, одергивая свободной рукой собравшееся на груди платье.

Дождь кончился так же вдруг, как и начался. Солнца опять словно и не бывало.

Вчера Водила появился что-то около одиннадцати. Через плечо — синяя сумка "Air France". Закурил, прищурился на небо, одернул джинсовку и двинулся к Смоленской площади. Потерять его было трудно — стройная фигура небрежно раздвигала негустую толпу. Но — был и сразу не стало. Свернул? Куда?.. Дмитрий — в парадное:

затхлость и тишина; в гулкую подворотню — никого. За угол... Глаз, метнувшись в сумрак крошечной комиссионки, выхватил знакомую фигуру.

С минуту постоял перед витриной, разглядывая распятую ковбойку, понурый полушубок и женские туфли в сетке трещин. Дыхание выровнялось. Он лениво вошел в пахнувший лежалой пылью сумрак. Водила выложил оценщику пару свитеров и что-то голубое — женскую блузку вроде. Перебирая развешанное вдоль стены барахло, Дмитрий косил глазом в угол: Водила помотал головой, отказываясь, завернул блузку в целлофан и сунул в сумку. Свитера оценщик унес в соседнюю комнату. Неспешно пересчитав выручку, Водила достал бумажник.

На левой его скуле, в шаге от Дмитрия, багровел раздавленный прыщ. Только руку протянуть — за плечо, подружелюбней.

— Какого размера у вас?

— Сорок шестой.

— Сорок шестой? — приличествующее случаю колебание. — И сколько он вам предлагает?

— Восемнадцать рэ. А мне говорили — не меньше четвертной. Французская все-таки, а не "Красная нить"...

Дипломатично:

— Это смотря какой покрой. Разрешите взглянуть?

— Ради Бога.

Вместо блузки — кружевная комбинация.

— Сорок шестой, говорите?.. Гм... Черт с ним, беру за четвертак. Пока ищешь, на беготню больше истратишься... Только у меня с собой ни копыя, но я тут рядом, три квартала... Пойдем,

пойдем, не тушуйся, — и за рукав, понастойчивей. — Жена на работе, а дочка не укусит — беззубая еще.

Дверь на ключ. Тугой щелчок садового ножа с кривым, как у ятагана, лезвием.

В глазах Водилы паника.

— Садись, змей, толковать будем. И не духарись, Виктор Викторыч, тут тебе ни папочка, ни все твои адвокаты не помогут. Супермен, аристократ прыщавый!

Мертвенная бледность, мокрогубый рот вот-вот завизжит...

— Сволочь! — ногой в поддых, кулаком по затылку и одним прыжком к радио — включить, толкнуть шпенец громкости до отказа вправо. Пусть теперь хоть весь пол соплями измажет.

”Слушай, товарищ, война началась...” — дребезжит из репродуктора.

— Вот именно: война давно уже началась. Вы нас травите, как клопов, а мы все не верим, что война идет, все сомневаемся, за людей вас считаем, — и носком ботинка под ребро. — Заткнись! Утри сопли!

За шиворот его и на стул. Всхлипы, заискивающий загляд в глаза, в трясущейся руке бумажник.

— Убери, на лекарство пригодятся.

Теперь включить магнитофон.

— Давай по порядку. Как насильовали, как ты над ней издевался, как убил.

— Я не убивал! — задыхается от страха. — Она сама прыгнула в окно! Это и те могут подтвердить!

— Хватит!.. Говори громко, отчетливо... Будешь крутить — получишь по зубам, а запись я сотру, и начнем все сначала.

Радио вырубить.

— Давай. Сперва назови себя.

— Хрусталеv Виктор Викторoвич.

— Теперь: какие показания были правдой — первые или последние?

— Первые.

— Не так уныло. Громче!

— Первые.

— Кто научил врать и как именно врать?

— Адвокат. Отец нанял адвоката... Они мне сказали, как говорить. И что теперь будет другой следователь.

— Суперме-е-н!! Для вас люди — крысы. Не супермен ты, а суперкрыса... Иди, но запомни: вызовут в милицию — говори, как было на самом деле. В следующий раз я с тобой канителиться не буду. Усек?

На левой скуле, в шаге каком-нибудь, багровел раздавленный прыщ. Только руку протянуть...

— Ну и что? — сказал Дмитрий вслух и открыл глаза. — Ну, заманю я его, попрусь с этой пленкой к прокурору... Мне же еще и дело намотают за избивание...

Он встал, отлепил от скамейки размокшую газету, швырнул ее в урну.

\* \* \*

Телефонный трезвон услышал еще на лестнице.

— Да.

— Дмитрий?

— Ну? — удивился он, узнавая.

— Прекрати! — истерически зазвенело там. — Я сообщу в милицию! Чего тасуешься перед

моим домом? Что ты там высиживаешь? Мало тебе было лагеря, подонок?.. Это ты мне мстишь, я знаю! Милиция его оправдала, а ты все выслеживаешь!..

Дмитрий молча повесил трубку.

## К ОТЦУ АЛЕКСЕЮ

К вечеру сердце разбухало: вместо маленького, давно домашнего зверька — дикий зверь: вот-вот начнет гнуть прутья, крушить ребра, норовя выпрыгнуть наружу.

Бывало и днем, но реже. Раз, не одолев последней ступеньки, он привалился к стене, с присвистом втягивая в себя воздух. Хорошо — Анна Михайловна подвернулась. Бегом-бегом — принесла нитроглицерин, сунула пару горошин в распустившийся рот, довела до дивана, уложила.

— Завтра на кардиограмму. Я тебя без номерка пропихну. Виданное ли дело — недавно еще по квартире в коротких штанишках прыгал, а уж до инфаркта допрыгался... Лежи, я обед сделаю, — и метнулась в дверь, оставив ее открытой.

— Какая уж там медицина, матушка? — донесся глуховатый говорок Пузиковой. — Не жилец он на белом свете, не видишь рази?.. Уж и зеленю пошел.

— Тише ты! — шикнула Анна Михайловна.

Сипягин разошелся: почему кардиограмму не сделал?



— Выглядишь в самом деле хреново. Хотя на гроб не тянешь — туда покраше кладут... Я вообще подозреваю: врачевать тебе надобно не тело, а душу, в каком случае медицина — тьфу, а вот отец Алексей — в самый раз.

— Кто?

— Отец Алексей. Да я тебе о нем рассказывал. Иль нет?.. Он... как бы сказать... У него приход под Москвой. Человек он что-то под сорок. Поп, но такой, что нашему доценту не уступит. Лучший, говорят, у нас знаток Баха, статьи печатает не то о влиянии баховского контрапункта на протестантскую экономику, не то наоборот, я в этом деле не копенгаген... Великий ловец человек и проницатель... Ты не смотри, что я в таком стиле трепаческом... Благоговение не в моей природе, а — благо-го-ве-ю, впервые в жизни благо-го-ве-ю. Потому и езжу редко, а ты — поезжай. Спасение, браток, только оттуда приходит, откуда не ждешь.

— А я ниоткуда не жду. Да и не нуждаюсь, — угрюмо уставясь в пол, сказал Дмитрий. Выдавил усмешку и прибавил: — Ты бы мне еще старца Зосиму порекомендовал...

Сипягин разозлился:

— А ты бы еще на пяток лет загремел в лагерь, Рип ван Винкль!.. То-то удивисься, проснувшись... Носитесь с этим лагерем, книжек понаписали! Развелось страдальцев — не продохнешь. Готовы в лагерях да тюрьмах преть, лишь бы воплощенной укоризною отсидеть перед отчизною: гляди, мол, прогрессивное человечество, что делают со свободной личностью в несвободном обществе!.. А что делают, если вдуматься?.. Ни-че-го такого особенного не делают. Зато сама "свободная личность" такое вытворяет, что хоть

оно, государство наше, уже преклонных годов, с уныньем, стало бытъ, и ленью, а не выдерживает, куснет иной раз, но — по старости — беззубо, так только, деснами шамкнет: ссылка там, высылка, ну, в крайности, три-четыре годочка за спекуляцию или ресторанный дебош. И то сказать: нервишки не выдерживают в незаконной связи с чужими государствами состоятъ, стучать заграничному начальству на родимого "гетмана-злодея"... Ну и загуляет иная диссидентская душа на тридцать неправедных долларов, чтобы потом отсидеться героически...

— Постой, ты про отца Алексея хотел.

— А я про что?.. Пока наши борцы по лагерям отсиживаются, готовят себя к свободной жизни в свободном мире, появляется, как положено на Руси, Алексей, человек Божий, и работает работу за всех "страдальцев": крестит, венчает, души врачует, книги пишет... Такими только и жива Русь, а не вами, страдальцами пустопорожними.

— Я-то здесь при чем? — неловко улыбнулся Дмитрий. — В чем ты меня обвиняешь?

— Ты тоже дезертировал!

— Откуда?

— Не "откуда", а "куда". В свои несчастья, вот куда... И за Виктором своим Победоносцем отца Алексея проглядел, новое упустил... Да, да, не улыбайся! Именно новое, потому что новое — это старое, возврата которого не ожидали, похерили за ненадобностью. А жизнь, она из повторов складывается. На Дмитрия Карамазова — старец Зосима, на Дмитрия Громова — отец Алексей. А как же?.. Думаем — литература, ан, глядь, это жизнь оказалась, думаем — жизнь у нас в руках, а это — чей-то

черновик... Так-то... Словом, отвечай: едешь к отцу Алексею или нет? Если едешь, сопроводиловку настрочу, а нет — хиляй к своей Анне Михайловне на кардиограмму, а мне больше плакаться не смей. Ну?..

— Поеду, поеду, не шуми, — угрюмо согласился Дмитрий.

Как бы ни перегибал Сипягин, в одном он прав: если жизнь бьет на каждом шагу — сам не в порядке. Один-другой тычок — туда-сюда: случайность, промах, государство-злыдень... Но на каждом шагу, когда от тебя уже за километр смердит несчастьем?..

А жизнь — просто выйти из дому, сесть в электричку, подышать подмосковными запахами... Почему бы и не съездить, не взглянуть на объект сипягинского бла-го-го-ве-ния? И мелькала тайная надежда, даже не надежда, а стыдливый проблеск ее: а вдруг поможет?.. "Поможет чему?" — спохватывался он.

Но... почему бы и не прокатиться?

\* \* \*

— До Спасска как лучше?

Тучная баба с набором складок у подбородка, как на голенище, окинула взглядом, оценила:

— Дорога одна — вон она. Можно автобусом... если время есть. А пехом скорее. До батюшки километров с пяток будет.

Усекла, отметил он. То ли вид у меня такой... малахольно-взыскующий, то ли к нему в самом деле косяками ездят.

Проспект "Сакко и Ванцетти" начинался прямо от вокзала. Во всю его длину, насколько хватало

глаз, зыбились маслянистые волны грязи. Думал: увязнет, но утрамбованная грязюка только упруго подалась под сапогами, не разъехалась, не всосала в себя — видно, московские дожди еще не добрались сюда... Грязевой разлив подползал к самым дверям новых пятиэтажных домов. Фасады уже пооблупились, нарядная мозаика серела залысынами, но гигантские фрески, на которых великаны с профилями ацтеков в крито-микенских хитонах ковали, вздымали, звали и разили, казались впечатляющими иллюстрациями из научной фантастики — вымерший поселок на жутковатом Марсе.

Но наконец проспект с новостройками кончился, зашагалось бодрей. Дорога выровнялась в нормальную сельскую, неспешно попетляла через березовую рощу, круто взяла на муравчатый бугор, потом мягко спустилась к речушке, прозрачно звеневшей промеж темно-зеленого бархата тины, снова — по деревянному мостику — взлетела на горку и вывела в деревню. Тихие, осевшие избы, жалобный перебор ветра в проводах, галки и воробьи копошатся в навозных кучах, мутный, загаженный утками пруд отражает мутное небо... Почтальон на велосипеде тряско вывернулся из-за плетня и покатил, позванивая на ухабах. Сзади понуро трусила рыжая собачонка. Внезапно, как в щелочку деревенского ставня, прорезалось солнце, растолкало неряшливую грудку облаков, выкатилось решительно и тут же принялось припекать.

Меж верхушками редкого ельника проглянула часовенка. Еще десяток шагов — окаймлявший дорогу кустарник оборвался, и навстречу выплыли первые кладбищенские кресты. Теперь можно и передохнуть. Отдышаться... Осмотреться...

Свернув с дороги, выбрал бугорок посуше, сел на телогрейку, привалившись спиной к березовому стволу. Закурил со вкусом.

Лимонно-желтая бабочка с черной талией суетилась над гнилью сыроежки, пахло болотной сыростью, прелыми листьями, грибами. Вдалеке гремели колодезной цепью, призывно блеяла коза.

Высокий странного вида человек вышел из-за кустов и тут же свернул на тропинку. Появился он так сразу, что Дмитрий не вдруг понял, в чем странность. Он был в рясе. На мокрый ее подол налипли хвоя, репейник, и на взгляд чувствовалось, какая она тяжелая, а тут еще дерюжный мешок в руке — что-то в нем железно брякало. Но батюшка шел по-молодому легко, быстро и, на ходу загибая пальцы свободной руки, что-то приговаривал вполголоса. Он чуть не задел Дмитрия краем рясы, скользнул по нему отрешенным взглядом, прошел еще сколько-то шагов и — словно вспомнив что-то — стал, обернулся.

— Вы ко мне? — спросил чуть ли не грозно. Дмитрий смутился.

— Наверно... Наверно, к вам.

— Ну, раз наверное, значит, ко мне, — обреченно сказал батюшка и загрузил. — От кого, позвольте узнать?

— От Сипягина... Анатолия Васильевича.

— Ага. От Сипягина. Рекомендательное письмо, разумеется, есть, но вы его забыли...

— Нет, отчего же забыл? — Дмитрий торопливо сунулся в карман.

— О, что вы, что вы?.. Не беспокойтесь, это я так, — засмутился отец Алексей и загрустил еще больше. — А вы не сидите все-таки на сырой земле — ишиас там всякий, знаете, почки... И опять

же — могилка, хоть и забытая, а все-таки... Значит, вы от Сипягина, от Анатолия Васильевича, и письмо рекомендательное при вас, — разочарованно подытожил он. — Что ж, милости прошу... Только меня, знаете, уже дожидаются, так что вам потерпеть придется, — серые со ржавой искрой глаза смотрели с затаенной надеждой. — Я, знаете ли, нынче в моде, как дантист какой-нибудь или портной.

— А мне торопиться некуда, — чуть-чуть с вызовом сказал Дмитрий. Отец Алексей нравился ему с каждой минутой все больше, но странно как-то нравился — как в театре, что ли.

— Вам торопиться некуда, — повторил тот, с еще большим интересом приглядываясь к Дмитрию. — Послушайте, а вы случайно не разбираетесь в машинах?

Дмитрий несколько оторопел:

— Я?.. Нет, к сожалению. И вообще... Ну, разве что электричество в доме наладить могу, а так — нет.

— Электричество и я могу, — неприязненно сказал отец Алексей. — Я даже и в машине кое-что кумекаю, но как до серьезного, до какого-нибудь там карбюратора или цилиндра... У меня, — улыбнулся он, — знаете ли, презабавная история с этим цилиндром. Я давно уже чуял: как-то он рефлектирует, уходит в себя, задумываться начал и все эдак, знаете, о грустном... Ну, решил, не буду его тревожить — как задумался, так, авось, и отдумается... Решить-то решил я правильно, но — не выдержал: копался тут как-то в моторе, а цилиндр этот все взглядом миную, из деликатности, однако не утерпел — взглянул, а в нем — в прокладке, собственно... Знаете, есть такая прокладка в голов-

ке блока цилиндра?.. Да, в общем — трещина, да еще какая! С таким надломом и так долго держался — непостижимо, преклоняюсь... Но удивительное в другом: держаться-то он держался, но только до той минуты, пока мы не встретились очами — духовными, понятно, с его стороны. Тут он и отказал... Прямо пиши книгу "Цилиндр как воля и представление".

Значит, вы не специалист... А я уж было про вас подумал... Взаимное врачевание, так сказать. Лицо у вас, знаете, честное... Не просто честное — честных лиц много, а той особой честностью, какая бывает по преимуществу у людей положительных знаний. У гуманитариев, к примеру, лица несколько... э-э-э, жуликоватые. И даже чем гуманитарней, тем жуликоватей... Ну, что же делать? Не судьба... Тем не менее милости прошу, — он развернулся и споро зашагал, погромыхая мешком то ли с церковной утварью какой-то, то ли с автодетальями.

\* \* \*

Восковой белизны половицы источали уют, деловито поскрипывали ходики, мерцали, потрескивая, лампадки перед киотом. У стола две сухонькие монашенки. Поджатые морщинистые губы шевелятся в лад друг другу. Перед каждой молитвенник. Из другой комнаты наплывал внушительный баритон отца Алексея. Дмитрий, постояв на пороге сколько нужно, чтобы обратить на себя внимание, но не обратив, сдвинулся с половика — к деревянной лавке с резной спинкой.

— Ноги-то, ноги оботри, — зашипела одна из монашенок, дряблая ее, в складках, как у че-

репахи, шея возмущенно вздрагивала. — Ходят тут всякие, ни днем, ни ночью покоя нет.

И выжидательно уставилась на вторую. Та подхватила немедля:

— Ты зачем?

— К отцу Алексею.

— Знамо, к отцу Алексею. К кому же еще?.. Спрашиваю: зачем? Помер у тебя кто, родился или еще что? — бесцветные щелки смотрели уничтожающе.

— Нет, я так... Отец Алексей знает. Велел подождать.

— А велел, так и жди. Да не в горнице. Подь на завалинку посиди, небось не застудишься, ишь какой вымахал... Иди, иди отседова.

Еле сдержался, чтобы не хлопнуть дверью. Присел на завалинку, прислонился к стене, вытянул ноги — ступни горели с отвычки. Из форточки углового окна доносился батюшкин рокот, но вот его остановил другой голос — что-то знакомое в нем почудилось. Интонация вопрошающая, но что вопрошалось — не разобрать.

Из-за угла вышел гусь, сердито обшарил клювом пух на грязной шее, прокричал трескуче и снова скрылся. Печально звенели комары. В дальнем углу двора, поросшего седой травой с песчаными проплешинами, гнили сваленные кое-как доски. В корыте под кривой березкой мокло белье. Деревянная церквушка смотрела понуро, на обступающих двор могилах потусторонне шелестели бумажные венки... На всем печать неотвратимого увядания. При сочувственном взгляде — запустение, чеховский колорит, при язвительном, гоголевском — выморочность...

Из-за церкви неспешно вышли двое, по виду — работяги. Один постарше, покрямистой, второй с



испытым лицом, юркий. Повертелись по двору, начали перетаскивать доски в другой угол, но, сделав пару ходок, бросили, уселись и закурили.

— Наш-то — что? Разливается все? — кивнул на избу тот, что постарше.

— Разливается... Чего ему еще делать? — ухмыльнулся юркий. — Дома-то у себя пусть его, сколько влезет, так он ведь и на службе так, перед блядем московским выкобенивается. Видал, какая фря приезжала на вечерню? И точно я тебе говорю — из жидовок. Смехота!.. А мне, как назло, поссать приперло, а он, бля, свое гнет. Жидовка слезами умиляется, а я ссать хочу до помрачения!.. А что поделаешь? Я — лицо подневольное, дьяк все-таки...

Дмитрий вздрогнул — показалось: отец Алексей из окна к нему обращается, над самым ухом голос его прозвучал. Но батюшка, распахнув окно настежь, смачно втянул вечереющий воздух и сказал густо — конечно, тому, в комнате:

— Все, мой друг, амбивалентно, то есть пародийно... Может, жестоковъйные за то и Спасителя нашего распяли, что Он не столько старый закон отрицал, сколько пародировал... Народ же сей от века к пародии чуток... И вообще, милый вы мой, великий грех — уньние, оно же — однозначность, — он снова затворил окно.

— Ну и как — обос-с-сался? — допытывался дьяков приятель, обсасывая переднеязычный согласный, как леденец.

Ответа Дмитрий уже не слышал.

Обратный путь он проделал на автобусе. Дурковатый водитель горланил частушки, убийственно бросало на ухабах... Не было ни досады, ни возмущения, ни разочарования. Только усталость.

## В ТРАКТИРЕ

На дверях объявление: "Рыбный день". За стойкой, сразу у входа, великолепный буфетчик. Ни дать ни взять — Лев Толстой, когда бы не оценивающий прищур вышибалы. Даже и серый халат, маловатый ему, походил на толстовку. Над его кудлатой волосней — плакат: "Обслуживает бригада коммунистического труда". Ресторан новехонький, наспех нарядный, но уже скучный.

Не дожидаясь горячего, Дмитрий хлопнул подряд две рюмки под черную горбушку с горчицей. Но легче не стало. И вообще — с его ли деньгами в ресторан переться?! Но разве не все в мире амбивалентно? Разве не величайший грех — уныние? — разжигал он в себе оправдательную иронию, представляя, как доложит Сипягину о результатах поездки.

Он уже приканчивал уху, когда в проходе слышались неверные шажки: между столиками пробирался мелкий мужичок — брюки в деревенскую синюю полоску заправлены в резиновые сапоги, на плечах болтается китель, когда-то, видно, зеленый, а теперь и не скажешь какой. Сел за столик наискосок. Лицо — вот-вот помрет:

обтянутое, даже не обтянутое, а втянутое в себя, без кровинки, не лицо — один чертеж, глаза жалкие, словно у всех прощения просят. Встретился с Дмитрием взглядом, на всякий случай улыбнулся искательно — поневоле отвернешься...

На мужичка надвигалась грудастая официантка, и он медленно вставал ей навстречу.

— Ты? — спросила грозно.

— Я... — затравленно выдавил тот. — Я так только... Посидеть малость.

— Сидят в другом месте, а у нас — заказывают. Понял? Катись отсюда, — люто сказала она.

— Да есть у меня, есть... Не сердчайте, Любовь Павловна, — и он, весь суетясь, изгибаясь, выгреб из кармана мелочь, высыпал ее на стол.

Любовь Павловна пересчитала все до копейки, сгребла в ладонь, сказала постно: "Ладно" — и отошла. Мужичок в тот же миг сорвался с места, подсеменил к радиоле и вытащил пластинку. Поставил, воровато вернулся к столику, улыбаясь уже чуть ли не надменно. Радиола зашлась итальянским бельканто: "Лу́на росса... Лу́-у-на ро-о-сса..."

Появилась Любовь Павловна, поставила стакан водки, шваркнула тарелку с прямоугольником плавленого сырка, положила на край стола пару медяков сдачи. Мотнув пухлым подбородком на радиолу, спросила:

— Уже успел?

— Успел, Любовь Павловна, — признался тот.

— Твое счастье, что песня душевная.

Дмитрий прикончил графинчик, заказал еще один и закрыл глаза. "Лу́-у-на ро-о-сса, лу́на-а росса-а...". Рядом скрипнул стул...

Никак, ко мне перебрался? Вот черт!.. Стоит только посочувствовать, хоть взглядом...

Он медлил открывать глаза, а когда открыл — прямо перед ним, уставясь в меню, сидел доцент.

Ага, вот, значит, кто с отцом Алексеем беседовал... Ну-ну... Неужто и тебя так прижало, что духовный лекарь понадобился?..

Тот, словно расслышав, оторвался от меню. Изогнулись удивленно и поползли вверх брови.

— Дмитрий Николаевич?! Я и не признал сперва... Вы-то что здесь делаете?

— Сижу, починаю примус, никого не трогаю, — легко ответил Дмитрий.

Они пылливо всматривались друг в друга. Время прошло по доценту вполне бесцеремонно. Он все еще походил на офицера проигравшей, вконец разгромленной армии, но уже никакой романтики — только горечь и усталость. С таким лицом не в Подмосковье водку пить, а в Галлиполи.

Видимо, и доцент подсчитал понесенный Дмитрием урон, сравнил со своим и подытожил неутешительно:

— Крепко же нас потрянуло, Дмитрий Николаевич.

— Крепенько, Сергей Александрович, — согласился Дмитрий и вдруг брякнул: — А где Натали? Лицо доцента недобро окаменело.

— Натали?.. Ее больше нет.

— Как?! И она тоже?

— Что — "тоже"?

— Умерла...

— Ах, вот вы о чем... Нет, не умерла, хуже — в Израиль уехала... А у вас, значит, первая мысль — умерла? — доцент глядел с любопытством. — Да, при ваших обстоятельствах...

— Откуда вам знать мои обстоятельства?

Доцент снисходительно улыбнулся:

— Ваш роман прочитан, Дмитрий Николаевич... Простите за цитату. Так или иначе, рад отметить, что бодрость духа вам не изменяет.

— Великий грех — уныние, — вразяжку выговорил Дмитрий, медленно оглаживая подбородок, словно захватывал в горсть незримую бороду.

Доцент растерянно сморщил лоб. Но тут давешний мужичонка, измаявшись затишьем, улучил момент — грудастая влипла в кухонное окно, — подкрался к радиоле, поставил пластинку и опять заблаженствовал. "Луна росса-а...".

Доцент смахнул набежавшую догадку и свел партию к ничьей:

— Воистину, удивительное рядом... Обратили внимание на соседа? Ну, зачем ему итальянщина эта? А он блаженствует... Версиллов — помните? — за метафизикой русской скуки в дешевые трактиры хаживал и структурные элементы ее перечислил: половые — нечисты, скатерти — грязны, понятно, водка, органчик в углу выводит "Санта Лючию"... Может показаться — сто лет прошло, в скатертях (по крайней мере, в здешнем заведении) прогресс, но в остальном, как и положено метафизике, неизменно: водка, "Санта луна", "Лючия росса"... Что это — наша русская тоска-кручина по мировой культуре, она же, повторяя Федор Михальча, наша "всемирная отзывчивость"? Как полагаете?

Сосед, учуяв, что речь о нем, качнулся в их сторону и радостно поделился:

— Вот оно как — и за границей про нашу русскую луну поют...

Дмитрий закашлялся от смеха:

— Поистине, удивительное рядом...

В лице доцента тоже дрогнуло что-то, он улыб-

нулся. Подплыла Любовь Павловна с двумя графинчиками на подносе. По дороге прошипела соседу:

— Выматывайся! — а доценту с Дмитрием в полный голос наказала: — Будет просить — ни-ни. Заблует.

Мужичонка приговоренно поднялся под ее взглядом, затоптался в проходе и — только она понесла в другой конец зала свой раздобревший круп — зашептал горячечно — даже не им, а так, словно в пустоту молился:

— Братцы... товарищи... На посошок... Мочи нет... И денег тоже.

Они переглянулись и, не сговариваясь, плеснули — каждый из своего графинчика — в протянутый за водочным подаванием стакан.

Он пил крупно, размашисто двигал кадыком, в страдальческом блаженстве уводил глаза под самый лоб... Счастье, что в последний момент сумел-таки резко повернуться и длинно блеванул в сторону. Успел сказать: "Извиняюсь — не пошла" — и начал оседать, ломаться в поясе, страшно костенеть лицом. Подскочили Толстой с грудастой, подняли без натуги, понесли к дверям и — шмяк! — наружу, как рогожный куль с вагона. Тело так и осталось голубеть под перронным фонарем — с поджатыми коленками и далеко, поптичьи закинутой головой.

Любовь Павловна смотрела зло. Прибежала старушка, замыла пол, но Дмитрию кусок в горло не шел — кислый запах блевотины закупорил ноздри, хотя рядом распахнули окно и сквозняк, прослойно насыщенный паровозной гарью и промозглым лесным духом, вольготно гулял над столиками.

Доцент с интересом проткнул вилкой жарено-

го окуня, попробовал, одобрил, Дмитрию же посоветовал:

— Выпейте — полегчает, — и приглашающе поднял стакан.

И впрямь полегчало: вместо омерзения — злость.

— Вот оно как обернулось, — сказал с вызовом.

— Вы о чем? О мужичке-бедолаге?.. Не исключено — рак, но, скорее всего, застарелая язва плюс алкоголизм или застарелый алкоголизм плюс язва... Напрасно мы симпатичной нашей официанткой пренебрегли, поддались интеллигентской чувствительности, от коей всегда и во всем одни только казусы проистекают. А вот народ — в данном случае официантка — он в корень зрит. Народ, батенька, не жесток, но справедлив. Стихийно справедлив.

— Ах, вот оно что? То-то я соборность вашу вспомнил... Вот народ ваш соборный брата своего, как собаку дохлую, на помойку выбросил — и не почешется. И мы с вами сидим, прохлаждаемся... Это как же?

— Торопитесь, Дмитрий Николаевич, ах, как вы торопитесь... Я студентов своих всегда предупреждаю... предупреждал: не надо путать Божий дар с яичницей — методологию с методикой. Не надо прилагать глобальную концепцию к обыденной жизни... Ну, выбросили, ну, лежит он там, скучает... Ну и нас с вами выбросили, ну и что?.. Выпьем, Дмитрий Николаевич... Любезная, — окликнул он официантку. — Еще пару графинчиков.

— Нас с вами? — удивился Дмитрий, не донеся рюмку до рта. — Откуда и кто выбросил?

— Из жизни, дорогуша, из жизни. Кто?.. Сама

жизнь. Меня — за то, что спешу, с идеями всякими слишком лезу. Вас — за... простите, межеумочность. За то, что ни то ни се. Вот и выходит... А без идеи... Даже если за нее бьют... Без пружины идеи жизнь провисает бессмысленной тряпочкой.

— Совокупление православия с партийностью — эта, что ли, идея?

— Чем не идея?

— Идея, конечно... Только она не с правдой соотносится, а с утешительностью — житейская расчетливость из нее прет. Данность-то ужасна, а бороться с ней — ни смелости, ни сил... И я это признаю честно, а вы... Манипулируете этой данностью так и сяк, идейки выдумываете — лишь бы не рисковать. Уж лучше честно: нет стоящей идеи, ну и не высасывай из пальца. Тем более такую, что... Ведь начальство, признайтесь, не очень вас гонит за эту идею. Что там у вас? Преподавать не дают?.. А вы уже — "из жизни выбросили"... Идея — она еще и мерой наказания меряется. Но нет — как это так: такие мы блестящие, да чтоб совсем без идеи жить?..

— Вот вы что проповедуете!.. Дескать, все, что остается, весь жизненный смысл — в любовном единении двух душ? Вот вас жизнь и пнула, с единением этим... То-то вы планы вынашиваете. Мой вам совет: выбросьте из головы. Пустое это, себя только загубите окончательно, — и, увидев усмешку Дмитрия, насторожился. — Или в вашем сюжете перемены?

— Любой сюжет переменами жив, — напустил Дмитрий многозначительности — лишь бы уязвить. — Значит, говорите, месть — дело пустое?

— Пустое, Дмитрий Николаевич, пустое, как



все сугубо деструктивное. Да и где мера страданию, например, вам причиненному? Вы что же считаете, что можно его измерить, точно вычислить и, отомстив, ликвидировать это страдание? Если оно не безмерно, оно — не страдание... Прощение — вот ключевое слово.

— Именно, что слово. Страсть же... Если она есть... Страсть словами, даже самыми ключевыми, не перешибешь... Клин только клином... Водичку прощения в вино страсти не обратить... Ну, измена — туда-сюда, а кровь? Да еще не своя?.. Кому дано прощать чужую кровь?.. Благодать ваша поражает. Своя она у вас? Или у отца Алексея разжились?.. Так ведь какие мы христиане, Сергей Александрович? Амбивалентностью балуемся.

Дмитрий говорил тихо, серьезно. У доцента игривости поубавилось, но насмешливое превосходство из глаз не ушло.

— Евангелие, — сказал он, — мы оставим в покое. Логикой вас тоже не проймешь, разве что абсурдом. Абсурдность же вашей ситуации в том, что мстить некому, просто некому. Вместо объекта страсти — пустое место... Я, знаете, с большим любопытством пролистал роман Анатолия Васильевича. Безыскусность его пленяет — эдакое, знаете, воспроизведение жизни в формах самой жизни. Обожаю наивный реализм: герой, героиня, любовь, ревность... Одни диалоги чего стоят! Словом, чудо! И не без новаторства: "Человек — это звучит подло". Репарку последующую помните? — "Выпивает". Давайте же выпьем, Дмитрий Николаевич.

Они выпили и закусили.

— В скобках, — сказал доцент. — "Пьют и закусывают".

А ведь он меня ненавидит, догадался Дмитрий. Бледное лицо доцента теперь казалось не только усталым, но и злым.

— Я за что реализм люблю? — продолжал Сергей Александрович. — За то, что жизнь на литературу похожа. Настоящую литературу — бульварную. Вот уже и ваш роман прочитали... О жизни как-то неловко сказать: эпигонская, а с романом чего стесняться? О прототипе-то своем догадываетесь?.. Вот и Анатолий Васильевич не догадался... Граф Монте-Кристо... Есть в характере вашем зачаточки, не без того. Но — не тянете... "Граф Монте-Кристо"... Какой роман! Не роман — миф. Переписать бы — пальчики оближешь!.. Это модно сейчас — классику переписывать, чтобы уяснить меру неподобия... Тридцатые наши незабываемые годы, великая чистка и — юноша простодушный, вроде вас, наш простой советский Эдмон Дантес с полным, понятно, сохранением фабулы: любовь, соперник, донос, политическое обвинение — передал, скажем, письмо от бывшего троцкиста будущему бухаринцу — ну и загремел на Колыму. А там — сокровище! Но... это на Западе сокровище непременно в звонкой монете, а у нас — слово! Ведь в каждом бараке — филологи: германисты, слависты, латинисты... Он бы такой литературы наслушался!.. И каждый о себе — в стиле изучаемого автора. "День догорал на сфере той земли...", а дальше про лесоповал терцинами. Или вопрос по Джойсу, такой, знаете, поток дознания... А очная ставка трех сестер как вам нравится? Маша: "Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя..." Или письмо Татьяны, подшитое к делу, с пометкой следователя на полях: "Мне ваша искренность мила..."

И вот выходит он на волю. Ну, допустим, в отличие от вас, он — монолит. И что с того?.. Прокурор реабилитирован посмертно, бухгалтер, понятное дело, сел за растрату и так далее. Но что самое замечательное — никто Дантеса не помнит и, следовательно, вины никакой не чувствует... Ну, кому тут мстить?.. Опять обстоятельства сильнее вас. Уясняете, в чем разница?.. Меня жизнь тоже щелкнула, потому что вперед забегаю. Щелкнула, но все равно я на нее влияю. А с вами все анекдоты какие-то случаются, происшествия... Я свою жизнь свободно читаю, а ваша — опыт принудительного чтения. Никакой отсебятины, то бишь творчества. Я бы хронику не "Дмитрий Несчастный" назвал, а — "Дмитрий Никчемный".

— Зато вы кчемные... В кабинете сидючи... Я хоть... А вы — книжку написать, идейку двинуть, кто что сказал да какое слово употребил... Как будто жизнь — филологический факультет. Я хоть... Потому мне и есть за что мстить. А вы только себя любите. Да и то — в слове.

— Уел, уел, ничего не скажешь, — вдруг перешел на "ты" доцент. — А вот я тебя тоже уем сейчас... Наприклад: все эти мстительные трепыхания — дань дурному вкусу. Литературному. Ты что, не видишь, кто вершител твоей судьбы?.. Сипягин. Ну разве не обидно?.. Он ведь уже последнюю главу написал.

— И что же там? — Дмитрий забыл улыбаться.

— Самоубийство. На большее ты не тянешь. Тошнота беспомощности подступила к горлу.

— Откуда эта ненависть? За что?

— За что?.. А за то, что ты не отомстишь. За то, что у тебя вместо души сопли. От таких —

ни то ни се — меня воротит. У вас, мол, нет стоящей идеи, так я не участвую. И — в позу чистоплюйскую. Ума, энергии хватает только на брезгливую позу, а на то, чтобы участвовать — участвовать! — силенок нет... Вот за что. И еще за сходство.

— Да в чем же сходство-то? — почти не помня себя, чуть не умоляя, допытывался Дмитрий. — В чем?

— В обреченности, Дмитрий Николаевич.

— Ах, вот оно что!.. Вам удачливым хочется быть? И по службе двигаться, и вроде бы идее служить — на двух лошадках разом... — с трудом нашелся Дмитрий, понимая, что это еще не ответ, что это даже ниже пояса, но надо было разогреть себя злостью, чтобы пришли сильные слова про то, что о сходстве и речи нет, что он сам по себе, а доцент пусть идет к черту. — Да вы знаете кто?.. — начал он и умолк: на него смотрели пустые глаза мертвецки пьяного человека.

## ”ЭХ, ТЫ-Ы-И...”

Троекратно позвонили. Сипяга, решил Дмитрий. Но вместо Сипягина — милицейский капитан.

— Можно? — и, не дожидаясь ответа, оттеснил, направился в комнату, молодцевато поскрипывая сапогами.

— Так-так-так, — он неторопливо и хватко оглядел все углы, нащупал задом стул — плюхнулся. — Работать будем или как? — серые глаза холодно изучали Дмитрия. — Положение о тунелях знаешь?

— Ищу подходящее.

— На какие шиши живешь?

— На сбережения.

— Чиво-о? — жлобский подбородок угрожающе закаменел.

— Что же я мало зарабатывал, что ли, чтобы месяц не прожить? Или вы хотите сказать, что у нас мало платят?

Участковый встал:

— Ты мне эту болтологию завязывай! Неделю даю. Чтоб устроился. И справку представь...

\* \* \*

Прикончив четвертинку, Дмитрий уронил голову на руки и закрыл глаза. Надо было нащупать главную промашку, отчего все пошло наперекосяк. Продумать последовательно, с самого начала, с первой встречи... Но не думалось, а только ныло и ныло сердце. "Не тянуть бы, а сразу жениться", — сказал он глухо и тут же застонал, яростно замотал головой: это не то, не ответ...

Не раздеваясь, повалился на диван. Добраться до выключателя уже не было сил. Голова шла кругом, за стенкой лба что-то вертелось все стремительней, словно воронка засасывала. К горлу подкатывала тошнота... Послышалась шаткая поступь Пузикова, старческий бормот: "Жизнь, мать ее в корень...", клацнул крючок в уборной.

За окном страстно взвыли кошки, и тут же задребезжал дверной звонок — три раза.

Кого это несет так поздно?.. Он сделал усилие выбраться из сна, встать, но тут кто-то, чертыхаясь, прошаркал по коридору — щелкнул замок, донеслись негромкие голоса. И потом — все отчетливей, ближе мерный деревянный стук. Дмитрий вскинулся, хватая ртом воздух — показалось, отцова деревяшка... Облезлая ворона на подоконнике мерно, как заводная, долбила костяным клювом раму.

— Кыш, гнусная птица! — хотел он крикнуть, но тут дверь начала тихо приоткрываться, и в проем всунулась женская голова в лохмах серых волос.

— Дмитрий Громов? — спросила хрипло.

Он неуверенно кивнул. Голова скрылась на миг, в глубине коридора качнулась неясная тень, что-то зашебуршилось, стукнуло, и дверь растворилась шире. Дмитрий с трудом сел, сунул ноги в шлепанцы и, сгоня пьяную одурь, потер лицо,

пригладил волосы... С улицы потянуло сыростью, он вздрогнул зябко — надо бы закрыть окно.

В дверь боком просунулась квадратная женщина в зеленом солдатском бушлате без пуговиц — левая пола в мазуте, из прорехи топорщится клочок серой ваты. Под бушлатом чернел свитер, заправленный в черную же юбку, а под юбкой — всего одна нога. Из-под косо вздернутого плеча торчал костыль.

— Я сяду? — спросила и тут же оказалась возле стула, прислонила костыль и плотно уселась, уперев кулаки в ляжки. — Вообще-то у меня есть протез, но уж больно он культу натирает, — поймала она взгляд Дмитрия. — Вот, значит, как ты живешь. Не шибко богато... Ну, признаешь теперь?

Где он видел это лицо с прямым носом, с резко очерченными губами?..

— По паспорту я Лени́на Бесфамильная, а вообще — Громова. Лени́на, — она натужно приподнялась и протянула руку вежливой лодочкой. — Что же ты — не больно рад, вижу? Все-таки единокровная — хоть и не ро́дная, а сестра. Пахан, я знаю, искал меня всю дорогу. Да я и сама только недавно узнала, что мне Громова фамилия.

Дмитрий дернулся подняться, но тошнота кисло подкатила к самому горлу, и он снова откинулся на подушку. Снится она мне, что ли? Он таращил глаза — она не исчезала.

— Чего пялишься? Вижу, что рад, и слава Богу... Выпить-то нет ли у тебя, с дороги да с устатку? — тяжело скрипнув стулом, она обернулась к столу, взяла четвертинку, понюхала, сказала с осуждением. — Пусто... А вот я сейчас, — простучав костылем к двери, отворила, нагнулась, выставив пухлый зад (из-под юбки, задрвав

ее, мелькнула толстая кулья), протянула руку в коридор, тут же выпрямилась, и в руке у нее оказался фанерный сундучок с висячим замком. Откуда-то взялся ключ, замок ржаво скрипнул, пахнуло застойной гнилью.

— Первачок, — побулькала она флягой, в другой руке — шмат желтого сала в тряпице.

Дмитрия передернуло:

— С меня хорош... Утром разве.

— Ну, как знаешь:

Из кармана бушлата извлекла длиннющий нож — вроде булочного, с таким же тонким, сточенным посередине лезвием, — с маху отвалила толстенный ломоть сала и пристроила его на обкусанную Дмитрием горбушку, черствеющую на столе.

— А как вы меня разыскали? — спросил Дмитрий. — Отец вот...

— Помер, знаю, — прошамкала она набитым ртом. — Так вот и разыскала... Да ты не бойся — не объем, с годик поживу, пока вот отдышусь...

— А что с ногой? — тоскливо спросил Дмитрий. Как же так — целый год?.. И отказать неудобно — сестра все-таки...

— Оттяпали по колено, — небрежно сказала она, приподняла юбку: обнажилось толстое колено здоровой ноги и — рядом — розовая, в струпьях кулья.

Как у отца... Только у него правой не было, а у нее... Или у него тоже левой?

— За блядство, — пояснила она. — Хорошо — по колено, а не по самую пизду, — и, словно оправдываясь, зачастила. — А ты как думал? Как бы я вьджила-то? Мне и семнадцати не было, а с голоду дошли как мухи. Тогда пурга произошла, так с неделю хлеба не завозили в лагерь, жму-



риков ели... А я Саньки-Резаного была, он такой стосс подрезал: сидит, ноги калачиком и шмотья этого разного на нарах — горой!.. А тут не фартит ему и все. И день не фартит, и два — хоть лапу соси! А мне Лом-Лопата кричит втихаря: канай ко мне! Ну я метнулась к нему. Резаный кричит: он ссученный, счас вертайся, а не то матку выверну! Тут ему по новой фарт попер, а на Лом-Лопату, в натуре, доказали, что сука — в сральнике утопили, только я уже к Резаному не хотела — насчет харева слабак был. А любил меня — страсть! Я, кричит, руки тебе по самую пизду пообрываю, чтобы, значит, никому уже без интересу. Ну, руки-то не пообрывал, врать не стану, а ноженьку вот оттяпал топором.

Она снова плеснула в стакан вонючего самого-ну, шумно выдохнула, опрокинула его в рот и замерла с куском сала в руке — задумалась о чем-то невеселом.

На кухне звякнуло, заурчал, причмокивая, кран, босые ноги прошлепали к уборной.

— Это какая же сволочь не спускает за собой?! — зазвенел, возопил к небесам отчаянный голос Анны Михайловны — и обрушилась вода.

— Да-а, — протянула Лени́на и покачала головой: дескать, были времена — и трудные, а вспомнить есть чего... Она быстро-быстро задвигала челюстями, перемальвая жилистое сало, потом обтерла губы бушлатным рукавом. — Так ты, значит, племяшку-то свою родную того-сего... По мужской линии обслуживал? Может, и мной не побрезгуешь?

Дмитрий, почти зная ответ, побледнел:

— Какую племяшку?

— А Психу-то! Она ведь дочь мне, от Резаного.

— Не может быть! — он силился закричать,

вскочить на ноги, но не мог. Все вокруг вздрагивало, колебалось, струилось, как речная вода, ломило и жгло под ложечкой... — Врешь!.. И по годам не сходится. Сколько тебе лет? — губы не подчинялись, он даже не знал, слышит ли она его.

— А вот я сейчас покажу тебе, сколько мне, — протянула она со злорадством, нагнулась к сундучку, запустила руку под крышку. — Сейчас, сейчас, — одышливо приговаривала она, не спуская с Дмитрия насмешливого глаза. — Сейчас я тебе документ покажу.

Из сундука, шумно треща жесткими крыльями, вырвалась ворона, села на спинку стула и выдохнула голосом Психи:

— Эх, ты-ы-и...

Дмитрий захрипел, из горла наконец вырвался вскрик, он напрягся из последних сил и скатился на пол...

Под потолком желтела лампочка, за окном таилась глухая ночь.

— Допился, — сказал он вслух. — Завязывать надо.

*ПОСЛЕ...*

## В ЭПИЛОГЕ

Рыцарю хана. Предстоял разговор с Сипягиным. Мерещилось — последний, на разрыв.

В сипягинской квартире — духота и хаос: на кресле — пишущая машинка, на полу — шаткая башня из книг, на столе, диване — стопки исписанных листов, из мусорной корзины выпирает белая пена мятых бумаг, как шапка крема над стаканчиком мороженого. Окна закрыты, чтобы бумаги не разнесло ветром.

— Что хмурый? — Дмитрий задержался в проеме дверей. — Иль не рад?

— Заходи, чего там... Зуб замучил, — пояснил тот ровным, тихим голосом, стараясь не дразнить боль. — Не добрался-таки до отца Алексея?

— Уже знаешь?

— Я-то знаю, я все знаю, — тем же занудливым голосом пробубнил Сипягин и, пока Дмитрий освобождал стул от книг, накрыл газетой стопку листов на краю стола. — Ты уже под газом, вижу. Сейчас добавим.

Он вышел на кухню и вернулся с бутылкой "Столичной" и тарелкой, на которой одиноко чернела вчерашняя котлета.

— Небось, монашки обхамили? А ты и на дыбы... Дешевка в духе "Безбожника": поп пьян — значит, Бога нет, про амбивалентность обмолвился — значит, позер... Идут же люди к нему — следовательно, есть в нем нечто.

— Оставим это. Ты лучше расскажи, как самоубийство мне прописал.

— Ну, самоубийство, — забыв о зубе, Сипягин заговорил громче, топя в горячности смущение. — Ты доцента побольше слушай. Его, между прочим, идея... Да ведь ты не обязан соответствовать. Сам посуди — вон Кутузов... реальный, я имею в виду. Он же курицы в рот не брал, а у Толстого сожрал чуть не с перьями. Во-вторых, я тебя не целиком беру, а — некий, нужный мне вариант. И разрабатываю его. То есть сначала я, конечно, писал как попало, а теперь тип вырисовывается. Эдакий "рыцарь бедный", не от века сего. А раз рыцарь — хана ему в наш век феминизации. Бабье царство наступает, все эти суфражистки, имя им легион... пацанье это волосатое, под девок. Волосня — хрен с ним, да характеры бабьи. Не в смысле там доброты женской, мягкости, а в смысле пассивности, безответственности. Во время оно мужской идеал был — рыцарь. То есть риск, решимость, ответственность и так далее. Мужественность его очевидна, потому в поклонении женщине он унижения для себя не видел. А кто есть мужчина теперь?.. Служащий, то есть лицо, пола не имеющее и от всех зависящее — от истории до жэка. Рыцарь на ратном поле самоутверждался, а служащий — в постели. Вплоть до зависти к женской роли — ничего не решать, ни за что не отвечать... Нет, эти длинные волосы на мужских головках — не просто мода... А ты... на Таню, например, чуть ли не молился.

Как в поза-позапрошлом веке. Ну и вдарили по тебе объективные законы со всей силой.

— Тебя послушать — мне и места на земле нет?

— Твое долголетие, — Сипягин опорожнил стакан, Дмитрий за ним. — Не волнуйся — место всем есть. Это я тебе литературный вариант развивал. Литература, брат, она — не жизнь. Литература — вещь жестокая. Если сюжет требует... Давай еще по одной.

Они снова выпили и закусили котлетой, поделив ее пополам.

— А самоубийства я тебе не прописывал. Это кощунство. Ибо русский писатель не просто жизнь отражает, но и предсказывает ее, формирует, так сказать, — он пьяно качнулся, оперся задом о край стола — газета соскользнула на пол, прихватив с собой пару листов.

Дмитрий нагнулся.

— Не трожь! — крикнул Сипягин, но опоздал.

На листе значилось: "Глава последняя. Самоубийство". И дальше: "Он человек конченный — так и так вышел в тираж, в эпилог..."

— Дай сюда! — Сипягин дернул лист.

Они стояли друг против друга, оба бледные, Сипягин к тому же и потный.

— Значит, все-таки нет у меня выхода? Нет выхода, по-твоему? Так?..

Сипягин отвернулся.

— Что делать, старик? Пойми и прости... Такие дела...

— Врешь ты все! Мне твоя арифметика смешна — слишком линейна, — сказал Дмитрий почти спокойно. — Вон как руки-то у тебя дрожат, провидец...

\* \* \*

**Планы, озарения.** Никогда не хватало выдержки — оставить на утро хоть граммушку. Так и маялся до заветного часа всех алчущих — и без четверти одиннадцать срывался в магазин.

Прозрачная струйка жгучей ртутью скатывалась по горлу в желудок, оборачивалась там мощной волной и захлестывала голову, смывая боль, претворяя ее в теплое блаженство, растекающееся по всему телу. Он навзничь валился на диван, закидывал руки за голову и принимался за Хрустальных, хитроумно загоняя их в ловушку. После второго стакана мысли утрачивали нормальную живость, зато обретали особую остроту, способность выхватывать неуловимые прежде детальки, обращая иную мелочь в легкое озарение.

Так и засыпал. Теперь уже все: план — и какой! — готов... Просыпался под вечер с прежней головной болью, но с утешительной памятью о найденном решении. Напрягался вспомнить — всплывала какая-то чушь, несурезица, дешевый детектив... И снова тащился в магазин.

\* \* \*

**Ошибка.** Дело шло к вечеру. С востока наваливалась на город тяжелая туча — груда серой, грязной ваты, провисающей мокрыми клочьями. Каблуки вязли в расплавленном асфальте, стены домов источали паркий жар, воздух струисто дрожал, двоя предметы, лица...

От жары совсем развезло, лоб покрылся холодным потом. Чье-то торопливое плечо отбро-

сило его к обшарпанному забору. Из урны несло вонючей гарью...

Трамвай, потная толпа, багровый солнечный блин на макушке Елоховской церкви, лиловые прорехи в блеклой голубизне неба, утробное урчание и зарницы на краю света — все это уже было... И забор этот нескончаемый, с гнойниками штукатурных обвалов и сукровицей кирпичей...

В эпилог, значит, списал меня Сипяга... Не-е-ет, вре-е-шь...

Его толкнули и раз, и другой. Он сшагнул на мостовую.

О чем это я? — напрягался вспомнить. Ах, да: вре-е-ешь...

Он еще тянул про себя это "ё-ёшь", когда ткнулся глазами в знакомую фигуру: мимо него, напористо тесня прохожих, прошагал Гнус. Ноги сами несли Дмитрия. Стараясь не упустить в толпе знакомый затылок на толстой шее, он нагдал и, как-то всхлипнув тонко, сбоку прыгнул к ненавистному горлу. Тот начал обмякать, выкатил глаза, захрипел, оскалив коричневые пеньки зубов.

Не он! — пронзило. Руки разжались.

— А-а! — взревел тот, по-кабаньи выставил круглую голову и ринулся вперед.

Дмитрий тряпично взмахнул руками, попятился, почти падая, на дорогу, и тут же его круто швырнуло оземь крылом "Победы"...

Он лежал на боку, поджав колени к самой груди. Из рта стекала на дорожный асфальт и тут же обволакивалась серой пылью темно-красная, словно вишневый компот, кровь. Он дрогнул веками, силясь сказать: "Простите... я не хотел...", но перед глазами возникло белое облако, поплыло, разбухая, заволакивая опрокинутые



к нему лица, и он не мог уже вспомнить, за что надо просить прощения. За белым облаком кто-то искал его, звал... Надо было крикнуть что-то очень важное — что он тут, что вот он сейчас... Он напрягся и выдохнул хрипло: "Э-эх, ты-ы-и..."

*1981—1982 гг.*

*Тель-Авив*